

ВРЗ
164

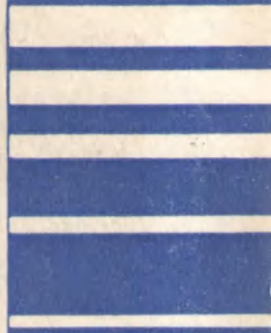


ПОЭЗИЯ
ПРОЗА
ПУБЛИЦИСТИКА



/86

ЛИТЕРАТУРНОЕ
ПРИКАМЬЕ





MS



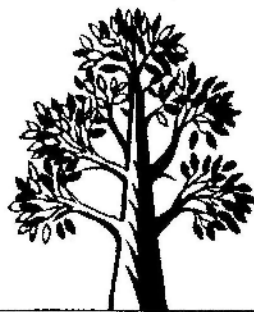
**ЛИТЕРАТУРНОЕ
ПРИКАМЬЕ**

ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1986

Редколлегия:

Л. Кузьмин (председатель), В. Зубков,
А. Крашенинников, И. Ленин, А. Решетов



ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СБОРНИКА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИКАМЬЕ» — ДАТЬ РЕАЛЬНУЮ КАРТИНУ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ КРАЯ. ЧИТАТЕЛИ СМОГУТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИЗВЕСТНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ, ЖУРНАЛИСТОВ И МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ.

УСЛОВНО СБОРНИК РАЗДЕЛЕН НА ДВЕ ЧАСТИ. В ПЕРВОМ РАЗДЕЛЕ ОПУБЛИКОВАНЫ СТИХИ, ПРОЗА, ВОСПОМИНАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.

В СБОРНИКЕ ТРАДИЦИОННО ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЖАНРЫ ПОЭЗИИ, ПРОЗЫ, ПУБЛИЦИСТИКИ, КРИТИКИ. ВВЕДЕНЫ РУБРИКИ «ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ», «НАШИ ЮБИЛЯРЫ», «СЛОВО О ТОВАРИЩЕ».

ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ И КРИТИКИ МЫ ЖДЕМ ОЦЕНКИ ЭТОГО ВЫПУСКА «ЛИТЕРАТУРНОГО ПРИКАМЬЯ».

42.9.110-18

В ПЕРВОМ РАЗДЕЛЕ
СБОРНИКА ЧИТАЙТЕ

...Когда фашистские тор-
педы понеслись к нашему
крейсеру, эсминец поднял
сигнал: «Погибаю, спа-
сая товарща...»

...Разве я виноват,
Что ночью порой
Снится мне Ленинград
И окоп подо Мгой?..

...Над гулом и всплеском
звуков работы, над шта-
белями ползущих к конт-
ролю снарядов, над вой-
лочной темнотой взлетел
незнакомый голос, тре-
петный, чистый...

...Прислушайся только —
и заново
На этой земле оживет
Писательский подвиг
Тынянова,
Дудинской
блистательный взлет...

...Мама... не могу сказать
тебе «здравствуй»: давно
тебя нет здесь на земле,
где шумят леса, текут ре-
ки, и над которой плывут
облака, нигде тебя нет
здесь...

...Даже сердце огнем
попыхало иним,
Только бедный язык
оставался земным.
Никакве пути, никакие
века
Не отнимут у нас
своего языка...

...Он поднялся над зем-
лей и собирался набрать
высоту, как вдруг резкий
порыв повел машину
вбок, и все почувствовали
глухой удар...

...Кругом такие ритмы
и движение,
Паденья, взлеты, взлеты
и паденья —
Иной и не представить
нашу жизнь...

...Артем Веселый расска-
зывал о футуристах так,
словно разговор у нас
шел о солдатской и мат-
росской вольнице или о
Ермаковых гулебщиках...


...тут где-то слово,
Неслышанное отроду
людьми,
Оно уже под сердцем
бьется снова --
Невольное признание
в любви...

...А подле бульвара, в про-
хладной тени домов, по
синим булыжникам мо-
стовой поцелуйно бьет
подковами казачья сот-
ня...

...В какую ты даль
улетела,
Какой тебя ветер увлек,
На кудри какие надела
Ты свой подвенечный
венок...

...Разговаривать нам бы-
ло незачем, все понима-
лось и чувствовалось без
слов, мы сейчас были как
никогда близки друг дру-
гу, близки миру...

...Это — утро, мирозданья
милость,
мир, в который мы
пришли, любя.
Это жизнь, что только
народилась
и осмыслить
пробует себя...



Владимир Радкевич

ОДА УРАЛУ

Урал любовью нашей выбран
Не наугад —

при свете дня.

Он молнией
Из камня вырублен,
Из стали создан
И огня.

В его мартенах
сталь варилась,

Которой не было прочней.

И эта прочность
растворилась

В крови сынов и дочерей.

И, может быть,
не потому ли,

Что здесь надежны небеса,

Так доверительно прильнули

К заводам
синие леса!

У той задумчивой таежности,

У Камы в голубом огне

Уральской нежности,
надежности

Еще всю жизнь
учиться мне.

ПРОГУЛКА ПО РИГЕ

Во мне неслышно прорастает Рига
Сквозь шум ветров и шорохи дождей.
И вздрогну я от каменного крика.

Ее соборов, кладбищ, площадей.
Чего бы проще — в море искупаться,
Лежать в потоках света и тепла.
Но вся в крохи

от войн и оккупаций

Ко мне вплотную Рига подошла.
Как убежать от призрачного гула,
Как боль чужую вычерпать до дна?
Ввысь подняла

и душу захлестнула

Поэзии балтийская волна.
Я бережно в себе собираю старуюсь
Весь этот мир преданий и забот...
На площадь Коммунаров

Янис Райнис

Меня по Риге за руку ведет.
И нету места для осколков ржавых
Недружелюбья — мы друзья весны, —
И шеи лебединые рижанок
Всплывают посредине тишины.

Иду, влюбленный, по реке зеленой,
А рядом — только руку протяни —
Столетия древней Горки Бастионной
И ВЭФа незакатные огни.

Посевам правды, верности и силы
Остаться в человеческой семье —
Недаром

даже братские могилы

Нам обещали братство на Земле.
Во всех сердцах зацветается лучисто,
В грядущий век войдут наверняка
И грозный лик уральского танкиста,
И крестный путь латышского стрелка.
И кровные названья наших улиц
В Перми и Риге

вновь напомнят мне,

Как их сердца бессонные сомкнулись
На темной и опасной глубине.
Нам — дальше жить!
Нам прожитого мало.

И полнится, упруга и строга,
Рабочим ритмом Риги и Урала
Поэзии

единая строка.

«СЕМИЭТАЖКА»

Довольно метелям метаться!
Мне светит из мглы снеговой
Гостиница «Семиэтажка» —
Лет огненных
дом угловой.

Над этим возвышенным домом
Заря милосердия плыла,
И дом приближался,
как донор
Радушья, добра и тепла.

У этих крылечек парадных,
С бедою один на один,
Встречал он когда-то
блокадных,
Почти неземных балерин.

Война разбросала по свету
Отцов, сыновей и мужей,
Но женскою верой в Победу
Сияли все семь этажей!

Страна — как открытая рана,
Но жизнь победит все равно.
И музыка Хачатуряна
Струилась в любое окно.

Прислушайся только —
и заново
На этой земле оживет
Писательский подвиг Тынянова,
Дудинской блистательный взлет.

И новая молодость честная,
О ранних утратах скорбя,
Запомнит,
как Таня Вечеслова
Искала Урал и себя.

Все было — и смерть, и блокада,
Но вновь — наяву иль во сне —

Мне шорохи Летнего сада
В уральской слышны тишине.

И белая ночь Ленинграда
Вскипает на камской волне!



НАШИ ЮБИЛЯРЫ

60 лет исполнилось в 1986 году коми-пермяцкому писателю Ивану Алексеевичу Минину. Он принадлежит к тому поколению, чья юность пришлось на годы Великой Отечественной. С 1943 по 1951 год Минин служил в рядах Советской Армии. Потом вернулся на родину, учился, работал, постигал писательское дело. А стихи, как и положено поэту, сочинял с детства. Верен он поэзии и сегодня, хотя самообытно работает в прозе, пишет для детей, занимается переводами. Поэтическим взглядом смотрит Иван Минин на свой родной край...

Иван Минин

ВЕСЛЯНА

(Отрывок из поэмы)

...Русоволоса, в платье легком,
Девчонка шла навстречу мне.
Она нужна,
 как воздух легким,
Была вечерней тишине.
Она под горочку спускалась
И исчезала без следа,
Чтоб в синих недрах заплескалась
Живая, темная вода.
И всем сердцебиеньем частым
Я знал, парнишка молодой,
Что шла она за нашим счастьем,
Когда ходила за водой.
Летела в платьице крылатом,
Звенели ведра под горой...

Я на войну ушел солдатом.
Она — военной медсестрой.
И где-то

 над могилой братской
Зажглась звезда в конце пути,
И ей в наш край Коми-Пермяцкий
Теперь дороги не найти.
Весляна под горой струится —
Прямой дорожкой к луне.
Любовь, Аленушка, сестрица,
Не ты ли повстречалась мне?
Как долго ты меня искала,
В крутую горку годы шла,
В пути всю воду расплескала,
Ни капли мне не донесла!
Я отойду,

 в сторонке встану.
Пускай, не ведая забот,
Как ты когда-то,

 на Весляну
Твоя ровесница идет,
Пусть ветер рвет
 с волос косынку
И, словно в давние года,
На ту знакомую тропинку
Из ведер плещется вода.
И в грозной шири океана,
И в малой струйке родника
Я разгадал тебя, Весляна,
Моя таежная река.
Твоим поэтам, плотоведам
Ты вся до капли дорога —
С шугой

 и с поздним половодьем,
Когда в тайге сойдут снега,
С пришедшей на берег рябинкой,
С волной, от солнышка рябой,
С твоей стальной голубинкой,
С твоей особинкой любой!
Весляна,

 видел я воочью
Твой труд, печаль и торжество.
Не потому ли этой ночью
Так остро чувствую родство

С леском, лугами по заречью,
Вон с тем усталым косарем,
К которому малыш навстречу
Бежит — рубаха пузырем.
Все дальше, с новыми вестями,
Течешь, прозрачна и чиста, —
Любовью, родами, смертями
С верхов до устья обжита...

Пер. с коми-пермяцкого
В. Райкевича



Николай Домовитов

* * *

Три часа осталось до рассвета,
Три часа до битвы штыковой.
Ждем, когда сигнальная ракета
Белый свет зажжет над головой.
Штык примкнут, затянуты шинели
До последней дырки на ремне.
И, поверьте, даже не хотели
На войне мы думать о войне.
Не хотелось верить, что взорвется
Тишина, которой не продлить,
Что опять под пулями придется
Нам друзей в воронках хоронить,
Что и ты в сражении, быть может,
Упадешь с пробитой головой.
И тебе уж больше не поможет
Ни сестра, ни доктор полковой.
Не хотелось верить, что бессонный,
В черной мгле укrywшийся солдат
Держит в автомате вороненом
Для тебя намеченный заряд.
Далеки от грозного сраженья
Наши мысли. Ой, как далеки!
Вот солдат увидел на мгновенье
Домик свой у ласковой реки.
Вот увидел парень черноглазый
Море синеволное у скал.
Не любил он, не страдал ни разу,
Поцелуя женского не знал.
До бровей солдат надвинул каску.
Слышишь, ожидающая мать:
Не умрет он. Не твою лишь ласку
Должен он на свете испытать!
А тебе, сосед мой молчаливый,

Перед боем видится все то ж:
Будто ты, усталый и счастливый,
Косишь в поле ласковую рожь.
Мы лежим и тихо ожидаем.
Белый свет, зажгись над головой!
О тебе мы, Родина, мечтаем
Перед боем, схваткой штыковой.

РАЗВЕ Я ВИНОВАТ...

Голова в седине,
Служит в армии внук...
— Брось писать о войне, —
Мне советует друг.
— Все война да война, —
Ставит мне он в вину, —
Не пора ль, старина,
Позабыть про войну!
— Разве я виноват? —
У него я спросил, —
Что солдаты кричат
Мне из братских могил:
— Не забудь!
Не забудь
С боем пройденный путь!
Разве я виноват,
Что забыть не могу
Льдом покрытых солдат
На горячем снегу?
Разве я виноват,
Что ночью порой
Снится мне Ленинград
И окоп подо Мгой?
Разве я виноват,
Разве я виноват,
Что зажившие раны
Так долго болят?



Олег Селянкин

БУДНИ ВОЙНЫ

1

До полуторки оставалось пройти метров двести, когда из-за вершин деревьев вынырнули два «мессера», с оглушительным ревом пронесли над дорогой, сбросив несколько бомб, строча из пулеметов, стреляя из пушек. Одна бомба угодила точно в машину, и взметнулось спящее пламя, повисло над землей черное облако дыма.

Старший матрос Савелий Куклин поставил на землю ведро с водой, которую нес, чтобы залить в паривший радиатор, и, как только мог быстро, побежал к тому черному облаку. Знал, что ни лейтенанта, ни шофера, сидевших в кабине, наверняка нет в живых, но все равно побежал: а вдруг?..

Останки товарищей осторожно опустил на дно воронки, прикрыл своей плащ-палаткой и засыпал землей. Следа от воронки почти не оставил.

Постоял, обнажив голову, затем повесил на грудь автомат лейтенанта и решительно зашагал к фронту, который километрах в трех дышал новыми взрывами, пулеметными и автоматными очередями. Шел решительно, зло. Сначала, обходя машины с красными крестами на бортах и санитарные двуколки, где лежали раненые, молча переносившие боль, шагал обочиною дороги, а потом, когда до окопов первой линии осталось одолеть считанные сотни метров и на дороге стали рваться вражеские мины, пробирался опушкой леса, прячась за деревьями.

Проскользнул в окоп, начинавшийся почти от леса, пробегал по нему немного, остановился и на ничтожно малое мгновение чуть высунулся. На мгновение высуну-

нулся из окопа, а будто сфотографировал глазами и солнце, которому до вершин деревьев оставалось часа три ходу, и четыре обгорелых фашистских танка; а вот атакующих фашистов не было, они отсиживались в окопах.

Все это увидел, запомнил и опустился на дно окопа, щедро усыпанное гильзами винтовочных и автоматных патронов. Он, старший матрос Савелий Куклин, твердо знал, что сегодняшняя бой еще не окончил, что в оставшиеся часы светлого времени фашисты наверняка атакуют. Бомбы или с пикировщиков обрушат, гусеницами ли танков попытаются в клочья разорвать или в пешем строю попрут, беспрестанно строча из автоматов, но обязательно атакуют, обязательно попытаются сбить и с этого рубежа обороны.

Он, чтобы сберечь силы, сел на полупустой патронный ящик, сжал ладонями голову и замер, безразличный к окружающему. А в окне, который еще недавно казался покинутым, уже хозяйничали солдаты. Они, споровито орудуя лопатками, очищали его от завалов земли, подиравляли бруствер и осторожно, словно боясь причинить им боль, уносили куда-то тела товарищей.

Савелий видел все это. Однако душа его была опустошена настолько, что сидел сторонним, безучастным наблюдателем.

И почему он такой невезучий, почему у него такая злая судьба? Семь лет прослужил на эсминце, обзавелся надежными друзьями и, как родной дом, полюбил свою «коробочку», искренне считал, что во всем мире нет корабля краше и лучше по ходовым и боевым качествам. Из этого класса боевых кораблей, разумеется. Словом, жизнь шла — лучше не надо, даже подумывал отстать на сверхсрочную. И вдруг война. Но и теперь, когда фашисты пашлиговали Финский залив минами небывалой мощи, а солнце порой исчезало за тучей самолетов с черными крестами на крыльях, даже теперь он верил, что их эсmineц невредимым с честью пройдет через все самые тяжкие испытания, которые обрушат на него война. Искренне верил в это.

Все шло нормально до тех пор, пока начальство не решило, что именно он, старший матрос Савелий Куклин, должен немедленно перейти на другой корабль, чтобы усилить там группу минеров-торпедистов. Вот по этому-то приказу он, забрав свое нехитрое и немного-

численное имущество, ушел с родного корабля, прикоснувшись губами к его флагу, явился в полуэкипаж, где и осел в ожидании своего нового плавучего дома, который в Кройштадте заделывал пробойны, полученные в недавнем бою.

Сидел в казарме и жадно, от первого до последнего слова, выслушивал все сводки Совинформбюро — может быть, именно сейчас сообщает, что на таком-то участке фронта наши наконец-то перешли в решительное наступление и крушат зарвавшихся фашистских воjak.

Ударом ножа в сердце стало официальное сообщение о том, что его родной эсmineц погиб. Когда фашистские торпеды понеслись к нашему крейсеру, эсmineц поднял сигнал: «Погибаю, спасая товарища». Поднял этот сигнал, дал самый полный ход и принял на себя весь торпедный залп фашистской подводной лодки.

Не хотел, отказывался верить Савелий Куклин в гибель родного корабля, но пашлись очевидцы, они дали даже точные координаты того места, где волны сомкнулись над ним.

С того часа, как узнал все это, жила в душе матроса и гордость за товарищей, и неисходная тоска по ним.

А утром следующего дня он в умывальной комнате глянул на себя в зеркало и увидел, что виски поседели. Не прощиты серебристыми волосочками, а бокалешки стали. За одну ночь!

Как величайшее счастье воспринял назначение в батальон морской пехоты: теперь-то он посчитается с фашистами и за гибель родного корабля, и вообще за все-все!

Лишь чуть больше недели провоевал Савелий Куклин на суше, испытал и яростные бомбежки, и пенствование, мощь вражеских танковых атак. Познал и радость побед. Пусть и малых, но все же побед.

Новый приказ командования бросил его в специальный отряд минеров-подрывников, которым надлежало закладывать под шоссе зарядные отделения торпед и морские мины старых образцов.

Уже дважды Савелий с новыми товарищами выполнял подобные задания. Однажды даже результат своей работы довелось увидеть: ров появился там, где секунду назад было шоссе, как только крутанули ручку подрывной машинки. И не мудрено: в самой захудалой старой mine около двухсот килограммов прекрасной взрывчат-

ки. А их в шахматном порядке под шоссе несколько штук было вкопано!

Сегодня тоже минировали шоссе. Все делали на высочайшем уровне, уже к отряду возвращались, когда случай навел на них фашистские самолеты. И вот опять он, Савелий Кукулин, одиночек, опять ни одного друга, даже знакомого пет рядом...

— Чего, как на бульваре, расселась, лава заморская? — безжалостно рвет мрачные мысли чей-то голос.

Савелий нехотя поднимает глаза и видит сначала стоптанные армейские ботинки, неопределенного цвета обмотки, шаровары, почти прохудившиеся на коленях, гимнастерку, основательно вылинявшую от многих стирок, есущих дождей и жаркого солнца, а потом и лицо солдата — молоденького, низкорослого и с добрыми веснушками на задорно вздернутом носу. Он, этот солдат, почему-то вызывающе смотрел на него.

— Кому говорю? Или не понимаетесь, что здесь будет моя огневая позиция?

— Не цепляйся, Лазарев, к человеку, — вроде бы равнодушно пробасил кто-то. Савелий глянул на заступника и сразу увидел по три треугольника в каждой петлице его гимнастерки. Помкомзвода, значит. — Или для тебя в окне другого места нет?

Места более чем достаточно: на этот полк командование отпустило такой длинный отрезок оконной, что оборонять его впору полнокровной дивизии или — на худой конец — бригаде; расщедрилось, одним словом. Правда, окопы что надо: полного профиля, с гнездами для пулеметов и ящиками для истребителей танков; даже блиндажи, хотя и в один накат, но были. И все равно после шести суток боев только на этом рубеже от полка вовсе почти ничего не осталось. Все это рассказал лейтенант, объяснив, почему они минировали шоссе именно здесь.

Солдат Лазарев, еле слышно чертыхнувшись, отошел от Савелия метра на два, где умело и заработал лопаткой, подгоняя под свой рост глубину окна.

А воздух уже столет от ной лезущих мин и снарядов. Солдаты, оставив в окне двух наблюдателей, укрылись в блиндажах. Савелий не побежал за ними: не переносил он бомбежек и обстрелов, если над головой даже наимягчайшая крыша была, в этом случае почему-то казалось, что все снаряды, мины и бомбы ищут только его.

Со ливнем дала фашисты вели обстрел: то обрушивший ливень огня, словно обещая скорую атаку, то били одиночными минами и лишь для того, чтобы советские солдаты и на мигновение не смогли забыть, что противник рядом, что он в любую минуту способен броситься в атаку — расстрелять, уничтожить все, оказавшееся на пути.

Артиллерийский и минометный огонь оборвался ровно и двинуться четыре часа. Еще какое-то время злобно строчили пулеметы, а потом пришла тишина. Первая, крепкая, но тишина. Теперь только разноцветные ракеты, пылавшие на окрестных фашистов, полосовали небо.

Солдата свалил камень, широким падением за невероятной силой упал, закурил, уселся свободно, и ядреный махорочный дымок зашептал над шимы. Еще немного погоды и термосах придется еду. Обед и ужин сразу.

Савелий не пошел к пужкому козду. Его позвал помкомзвода. Он же и спросил:

Кем являешься?

Матрос назвал только имя и фамилию.

И немедленно в разговор влез вездливый Лазарев:

— Здесь люди свои, боями проверенные, так что следовало бы и поподробнее рассказать. Например, о личных подвигах. Или таковых не имеется?

— Лазарев! — чуть повысив голос помкомзвода.

Выскребли ложками котедки, закурили — снова голос Лазарева:

— А вы заметали, ребята, как лениво товарищ флотский ложкой орудовал? Почему, спрашивается? Они, флотские, больше шоколадом питаются и прочим, а чем мы, пехота, только слух имеем. Вот и воротит его изнеженное брюхо от нашей солдатской пищи.

Савелий мог бы рассказать все, что волновало его сейчас и впрочью лишило аппетита, но смолчал.

Лазарев спокойно гнул свою линию:

— Мое кланье, если хотите знать, — все флотские насковы испорчены легкой службой и красивой формой. Разве они знают, что такое за штука марш-бросок да еще с полной выкладкой? Им даже не свилось такое! Между прочим, как я думаю, потому их и заставляют служить пять лет, что вся их военная служба — мести клещами улицы или, когда по морю катаются, глядеть на чашек и прочую живность, от безделья на волны попле-

вывать. Короче говоря, у них не служба, а благодать! Зато фасону, форсу...

Снова Савелий мог бы ответить весело, даже малой частью воспоминаний о том, что пережил сам, но опять смолчал: стоит ли вступать в спор с дураком, если и так видно, что остальные осуждают его болтовню? Главное же — настроение не то...

Хотя и было два блиндажа, выставив наблюдателей, улеглись на дне окопа. Все молчали. Даже репликами не обменивались. Только Лазарев все не мог успокоиться, опять поносил флот и всех флотских вообще. Казалось, терпение на пределе, казалось, еще совсем немного боитовпи Лазарева, и он, Савелий, черт знает что с ним сделает. В эту самую критическую минуту помкомвзвода и сказал:

— У тебя, Лазарев, как погляжу, сна ни в одной глазу. Вот и подмени-ка на посту Сидорчука.

— Да я...

— Хочешь, чтобы я повторил приказание?

2

Утомонились солдаты, кое-кто начал даже сладко по-сасывывать, а от Савелия сон бежал. Вернее, Савелий не нскал, не звал его: все думал о своей горькой судьбине. Нет, не о том, что наговорил пустомеля Лазарев, а по-прежнему о дружках, погибших на родном эсминице, о лейтенанте и шофере, с которыми еще вчера встречал восход солнца. Сейчас, когда тот день был уже в прошлом, боль утрат стала особенно остра, почти нестерпима. Вот если бы облегчить душу разговором с человеком понимающим...

Тут и увидел помкомвзвода, который сидел, привалившись спиной к стенке окопа, и неоглядно смотрел на небо. Обрадовался Савелий, что есть здесь человек, которому тоже не до сна, подошел к нему и спросил:

— Махрой не поделишься? На одну самокрутку?

Тот протянул кивет, потом тоже свернул «козью помаку». Курили молча, сосредоточенно, словно это было самым главным делом всей их сегодняшней жизни. Савелий уже решил, что так и не наберется смелости начать разговор, уже хотел поблагодарив, вернуться на свое место, но левее, где располагались основные силы полка, вдруг послышались приглушенные расстоашнем го-

лоса, еле уловимое бряцание оружия. За годы военной службы он привык к неожиданностям, поэтому непринзвольно положил руки на автомат. Тут помкомвзвода и сказал безразличным тоном:

— Полк отходит на новый рубеж обороны. Здесь только по одному отделению от каждой роты останется. Для прикрытия отхода. Вот так-то, Савелий... Между прочим, меня Герасимом кличут.

Всего около недели прослужил Савелий в морской пехоте, однако прекрасно знал, что в подобных случаях прикрытия обязательно почти полностью погибает. Похоже, известно это было и Герасиму, он переживал неизбежное по-своему.

Еще недавно Савелий считал, что не боится смерти, даже ищет ее. Но сейчас неприятный холодок пробрался под тельняшку. Однако он не выдал себя, он сказал о том, что по-настоящему взволновало, встревожило его: Хреново отошли. Нашумели, будто новобранцы. Знать фашистам дали, что нас малая горетка осталась.

— А почему бы фашистам другой вывод не сделать? Ты же сам сказал, что нашумели, как новобранцы, как пополнение необстрелянное.

— Резонно, очень даже резонно...

Помолчали, и Савелий спросил:

— Тебе об этом когда известно стало?

— Сразу после ужина.

— Почему до общего сведения приказ не довел?

— Еще успею... Пусть хоть эти часы поелят спокойно.

Тоже верно: фронтовику без душевного отдыха никак нельзя, его нервам хотя бы и кратковременный покой непременно нужен...

Больше не обмолвились ни словом. Сидели будто чужие, хотя невидимые нити взаимного доверия прочно связывали их.

Наконец небо посветлело, и на нем отчетливо обозначились перистые облака, чуть порозовевшие от пока еще невидимого солнца.

— Пойду будить ребят, — сказал Герасим.

Сказал буднично, и Савелий понял, что непоколебима, незыблема его вера в товарищей, а когда увидел, как он беседовал с ними, как они слушали его, дошло и другое: авторитет у Герасима — любой командир только позавидовать может.

О своем пробуждении фашисты пзвестили двумя де-

сытками миц, которые разорвались около окна и даже в нсм.

Хорошо пристрелялись, сволочи!

А потом — за несколько часов! — ни одного взрыва мины или снаряда, ни одной настоящей пулеметной или автоматной очереди. И в небе зазвенели жаворонки, слава солнечный день и жизнь вообще. Даже в окопах запахло не пороховой гарью и сгоревшей взрывчаткой, а лесом, до которого было всего метров тридцать. Тридцать метров до леса, где осинки, березы и ели обязательно укроют тебя. Во много раз надежнее, чем эти окопы и блиндажи..

Только самыми необходимыми словами обменивались в эти часы ожидания неизвестно чего. Каждый, когда молчал, думал, конечно, сугубо о своем. Савелий, например, о том, что в любом бою во много раз легче, чем в эти минуты.

А косяки вражеских бомбардировщиков все шли и шли, спокойно проплывали над их окопами и освобождались от бомб километром на пять восточнее. Не сразу пришла разгадка действий фашистов: считают, что окружили полк, ну и намереваются взять измором. Что ж, пусть потешат себя! только прожить бы до ночи, а тогда — в лес, и ниц-свищи нас!

Около полудня, однако, опять снаряды и мины начали рваться около окопов и даже в них, опять фашистские самолеты, один за другим, пикировали здесь почти до земли, чтобы, сбросив бомбы, взмыть туда, где еще недавно звенели жаворонки.

Начался обстрел — солдаты скрылись в блиндажах, а Савелий опять остался в окне. Сжавшись, сидел, злой от своего бессилия, и молил судьбу только об одном: «Пусть фашисты бросятся в атаку!»

Он в душе осознавал, что прикрытию не уйти из этих окопов, вот и хотел еще хотя бы раз увидеть фашистов, чтобы стрелять по ним злыми и беспощадными очередями. Стрелять до тех пор, пока будут патроны. Потом он обязательно метко бросит в них все свои гранаты. И лишь после этого встанет во весь рост: может, повезет, и он ударит хоть одного ножом в грудь.

Томился в окопе Савелий Куклин, непроизвольно сжимался, когда очередные снаряд, мина или бомба — это уже точно определял — должны были рвануть рядом. Но пока судьба миловала его. А вот Герасиму не повез-

ло: едва ли не первая бомба, оторвавшаяся от брюха фашистского бомбардировщика, догнала его у самого блиндажа...

Одно непрерывно Савелий помнил: что им надо продержаться до ночи. Лишь потом можно будет отойти. Он не видел леса сейчас, однако точно знал, что до него считанные десятки метров, мысленно уже не раз пробежал их.

За весь день фашисты не высунулись из окопов. Савелий и солдаты в бездействии сидели под обстрелом и бомбежками. Почти оглохли от взрывов, уже почти отупели от пих и мало верили, что доживут до ночи, но окопов ни один не покинул.

Для Савелия душевные муки оборвались неожиданно: он еще видел, как вдруг вздыбилась земля, а затем на него обрушилась мрак и могильная тишина.

3

Очнулся Савелий от сильного удара, который нанесла ему земля. Словно приказала немедленно встать, шовь вступить в бой.

Не встал, даже не повелелся: сначала надо было понять, что случилось с ним, хотя бы приблизительно знать, какова обстановка на недавнем поле боя. За кем оно сейчас? Стоим мы на прежнем рубеже или здесь хозяйничают уже фашисты? Наконец — почему в ушах появилась эта пудная боль? Вполне терпимая, но все же мешающая? Скорее всего, контузия так дает себя знать. И он вспомнил вдруг вздыбившуюся землю — именно после этого потерял сознание. Убедился, что жив, даже не ранен; присыпанный землей, сейчас он сидит на дне окопа, уткнувшись головой в его стенку.

Так вот почему он может свободно дышать, хотя и основательно засыпан землей!..

А боя не слышно. Кто же его выиграл? Не похоже, что фашисты; они имеют привычку осматривать захваченные окопы и пристреливать тех, кто оказывался жив. Подымают автомат и равнодушно прошивают человека строчкой пуль, словно он самая обыкновенная мишень.

Выходит, мы устояли на рубеже, удерживаем его?

Направлялся этот вывод, но все равно, осторожно освобождаясь от земляного крошева, приподнял лишь голову, вернее — оторвал ее от стенки окопа. Шурша по-

сыналась земля — замер в ожидании беспощадной очереди или окрика на чужом языке. Не последовало ни того, ни другого. Тогда, осмелев, сначала осторожно кампул, потом помотал головой. Боль не усилилась. Значит, контужен, но легко: ни головокружения, ни тошноты нет. И он встал почти во весь рост, стрельнул глазами прежде всего по окопу. Тот словно вымер. Ни одного нашего или фашистского солдата. Зато на шоссе, которое вело к Ленинграду, полно гитлеровцев. Они суетились, метались; словом, от их хваленного порядка не осталось и самого малого следа. Почему? Что их повергло в такую панику?

И тут вспомнил тот удар земли, который вернул ему сознание. Чтобы проверить родившуюся догадку, внимательно взгляделся в сутолоку на шоссе. И сразу же увидел грузовики, тягачи с орудиями на прицепах и даже танки. Вся эта боевая техника не просто стояла на шоссе, а забила его пробкой, растекалась по обочинам и даже поляне, которая одним краем прижалась к засушившемуся лесу.

Не успел подумать, что сейчас самое время ударить нашей авиации, — появились три тяжелых бомбардировщика в сопровождении двух тулоносых истребителей. Наши бомбардировщики шли степенно, солидно. Слово им, идущим языко и на пределе своих скоростных возможностей, вовсе не страшно, что фашисты вот-вот откроют огонь из скорострельных зениток и даже вывоят свои истребители. Савелий понимал: вряд ли эти наши самолеты вернутся на аэродром. Но как человек, уже прошедший школу войны, он твердо знал, что у фашистов будет много покойников, когда эти тихоходные машины сбросят им на головы свой груз.

Попались в ловушку, фашистские сволочи?! Смяли поляк, лоперли колонной по шоссе, а оно и ахнуло под вами во всю мощь нескольких тонн взрывчатки!

Дождаться развязки не стал: понял, инстинктивно почувствовал, что сейчас гитлеровцам не до осмотра окопов, что сейчас самое время уходить в лес.

Стоп, стоп, а вдруг кто-то из солдат все же уцелел? Негоже бросать товарищей в беде.

Савелий, приглувшись, чтобы голова испароком не высунулась из окопа, побежал к блиндажам.

Один из них вообще отсутствовал: бомба или снаряд крупного калибра точно угодили в него, ну и раз-

бросало взрывом пакет по бревнышку; воронка теперь вместо блиндажа.

Второй блиндаж тоже пострадал: бревна его паката силой удара и взрыва были сломаны почти на середине и просели до земли. Но здесь кто-нибудь все же мог уцелеть. И Савелий, прислонив автомат к стенке окопа, ухватился руками за ближайший обломок бревна, раскочав, вырвал его, положил на дно окопа.

В образовавшуюся щель немедленно заструилась земля. И тут само собой пришло решение: нужно не бревна вырывать, а подкончик сделать. Сделать сначала небольшую дырку в земле, чтобы воздух туда пошел, потом оклкнуть живых и лишь затем, если они отзовутся, расширить проход, превратить его в лаз, который могли бы воспользоваться и раненые.

Савелий взялся за лопатку. В это время сзади, на шоссе, и загрохотали взрывы бомб, истерично затыкали фашистские зенитки. Он даже не оглянулся, для него каждая секунда была дорога.

Лопатка легко входила в рыхлую землю, и первый узкий проход, в который пролезла бы разве что кошка, был готов за считанные минуты. Савелий тихо позвал:

— Откликнись, если есть кто живой!

Какое-то время, показавшееся бесконечно долгим, отсветом было молчание. Но Савелий чувствовал, что есть там кто-то живой, есть!

— А ты кто такой?

Голос Лазарева! Честное слово!

— Тебе, дурак, не все равно? — радостно огрызнулся Савелий и еще яростнее заработал лопаткой.

Когда проход был готов, Лазарев вновь подал голос:

— Это ты, флотский? Не отпирайся, я узнал тебя.

— С чего бы мне отпираяться? — удивился Савелий. — Сам выползешь или вытащить тебя?

Прошло несколько минут. Наконец появилась голова Лазарева. Вся кровью залитая.

Савелий подхватил солдата, вытащил, усадил спиной к стенке окопа и полез в карман за индивидуальным пакетом. Куда точно и чем ранен разглядывать некогда, если кроввица хлещет. Он уже наложил на голову Лазарева первый виток бинта, когда Лазарев сказал скорее растерянно и удивленно, чем испуганно:

— Слышь, флотский, а я ничего не вижу. Неужто ослеп?

Савелий нагнулся к его лицу, попытался заглянуть в глаза. Они были сплошь залиты кровью. И он, сердцем чувствуя беду, обрушившуюся на Лазарева, все же попытался успокоить его:

— Ерунду мелешь. Потом, когда в безопасности окажемся, смою с твоих глаз все лишнее, сразу прозреешь.

Лазарев промолчал. Ни единого слова не сказал все то время, пока Савелий бинтовал ему голову и верхнюю часть лица. Не простонал, ни разу не дернулся, хотя чувствовалось, что ему очень больно.

— Кто-то еще есть живой? — спросил Савелий.

— Только я уцелел. Чудом.

— Это точно?

— Думаешь, не звал товарищей? Не оцепал руками каждого? До кого дотянуться смог... Слышь, флотский, ты пристрели меня, а? Фашисты не пощадят, они лишь мук добавляют.

Вот теперь Савелий разозлился до бешенства, схватил Лазарева за плечо, тряхнул так, что тот застонал, и зашипел:

— Мои руки своей кровью замарать хочешь? А граната у тебя имеется? «Лимонка»? Ты положи ее себе на грудь, где сердце от страха екает. Ну, когда фашисты брать тебя будут, тогда и взорви ее. И сам мгновенную смерть примешь, и фашистам кое-что перепачкаешь!

Жесткие слова бросил. И не раскаивался; считал, что только так можно заставить Лазарева думать о жизни. И сегодняшней, и будущей.

Похоже, достиг желаемого: Лазарев как-то подтянулся, ендеш уже не мешком, а человеком. Однако сказал с горечью:

— Разве ты допрешь меня до наших?

— Переть не собирался и не буду. Сам ножками потопашь, — отрезал Савелий.

— Измываешься?

— Или не слыхивал, что в старые времена слепцы с поводьями всю Россию исходили? — повысил голос Савелий. Помолчал и продолжил уже спокойно: — Встань, хватайся за меня и пойдем в лес, пока фашисты нас тут не засекли.

И Лазарев встал, опираясь рукой о стенку окопа. Положил левую руку на плечо Савелия; правой по-прежнему сжимал винтовку.

Пригнулся малость, чтобы башка над окопом не маячила, потеплевшим голосом сказал Савелий: — Вот так. Ну, включаем малый ход вперед?

4

Вести слепого по лесу, где каждая ветка норвила локотнуть по лицу, а корни деревьев высывались из земли в самых неожиданных местах, оказалось значительно труднее, чем предполагал Савелий. И невольно вспомнил, что слепцы с поводьями не лесной чащобой, а дорогами ходили.

Может быть, только на километр они и углубились в лес, хотя без единого привала шли часа полтора или два.

— Ты ноги выше подымай и опускай без потяга вперед, — вот единственное, что сказал Савелий за все это время.

Лазарев незамедлительно последовал его совету. Однако не способен человек сразу отказаться от того, к чему привык с детства. Вот и сбивался временами Лазарев на привычный шаг, запинался там, где, как считал Савелий, и не должен был.

Измаялись — до последней капельки сил. Поэтому, увидев размашистую ель, обосновавшуюся в густых зарослях младших сестренек, Савелий осторожно провел к ней Лазарева, помог опуститься на землю, щедро усыпанную порывевшими от времени иглами и шишками, давно освободившимися от семян.

Савелий одну шинель положил на землю, чтобы второй прикрыться, как одеялом, и сказал:

— Ложись, Лазарев, набирайся сил на завтрашний день.

— А ты?

— Малость посижу, подумаю, пораскину мозгами и рядом с тобой пристроюсь.

Лазарев послушно лег, но чувствовалось: он напряженно вслушивается в шумы леса, а еще больше, с обостренным вниманием, ловит каждое шевеление Савелия.

Чтобы прервать затянувшееся тягостное молчание, Савелий спросил:

— Слышь, Лазарев, а как тебя дразнят?

— Кучерявый, — после небольшой паузы ответил тот.

Савелий опешил, услышав такое. Усмехнулся и сказал, глубоко спрятав свои чувства:

— Извини, брат, я не совсем точно выразился. Мне твое человеческое имя знать желательно.

— Никола.

Никола... Трюмный машинист Николай Рудометов — дружок, с которым познакомился в экипаже, а потом на земнице так сдружился, что даже в увольнение ходили только вместе; кто служил на флоте, тот знает, что это значит: в увольнение пускали по вахтам, и далеко не каждый раз случалось так, чтобы они оба в соответствующих списках значились...

— К имени-то остальное добавлять? Адрес домашний и все прочее? Так-то правдивее твоя брехня будет, когда к нашим пробьешься, наши общие страдания расписывать станешь.

Савелий, растревоженный воспоминаниями, сказал хриловатым от волнения голосом:

— Ты, Никола, дурацкие мысли в голове не держи. Вместе к своим явимся или... Не будет этого «или», слышишь? Не будет!

— Язык, известно, без костей.

Вот, что называется, и поговорили душевно...

А фронт вроде бы стоит. Выходит, наши чуток отступили и опять уверлись ногами в землю. Ишь, фашисты ведут только методический обстрел, а наши пушки подают голос и того реже.

5

Всю ночь они лежали рядом под одной шинелью. Перед рассветом, когда под шинель пробрался сырой холодок сентябрьской ночи, даже чувствовали друг друга спиной, даже не шевелились без крайней необходимости, но не спали. Упорно думали каждый о своем. Лазарев — с ужасом о своей слепоте: жить-то как дальше? Разве это жизнь, если ты больше ничего и ничего не увидишь? Кто слеп от рождения, тому, может быть, все же легче: он, вероятно, не так остро чувствует, чего лишен. А ослепнуть в двадцать годочков...

Главное же — что он, Николай, теперь делать в жизни может? Городской устроится в какую-нибудь артель или мастерскую, специально для слепых созданную государством. А он — колхозник, ему за плугом ходить положено, стога метать, хлеба косить и еще мно-

гое прочее, без него в деревне не прожить, ежедневно делать надо. И все эти такие обычные и необходимые дела чужого хозяйского глаза требуют. Вот и вышло, что, потеряв глаза, он в самого обыкновенного одиночеловека превратился, не кормильцем, а наклебником в родной дом вернется...

Так тошно было от этих мыслей, что на мгновение даже подумалось: а не оборвать ли вообще жизненную тропочку? Мелькнула эта мысль, и сразу родилось нестерпимое желание жить, жить во что бы то ни стало! И он с неприязнью, почти с ненавистью подумал о Савелии: если бы рядом был не этот флотский, а кто-то из товарищей, он, Николай, наверное, и минуты не сомневался бы в том, что не бросят его в беде, доставят к своим, определят в госпиталь. А этот флотский... Не заглянешь ему в душу, не заглянешь...

Вчера, правда, он себя пастоящим человеком показал и откопал из-под завала, и до этой сляк довел, и сейчас рядом лежит. А вот кто с точностью скажет, как завтра, когда рассветет, он поступит? Может, смостется втяжку, и все дела...

А он, Николай Лазарев, завтрашнего рассвета уже никогда не увидит. И ласкового солнышка, и зеленой травки. Пичего этого и всего другого, знакомого с раннего детства, он больше никогда не увидит...

И голова цесстершим болят, кажется, вот-вот от боли на части развалится. Раны — сами по себе, а она отдаленно от них болит. Так сильно, что порой тошнога к горлу подступает и давит, давит, дышать нормально не дает...

Может, все это от мыслей безрадостных?

У Савелия заботы были пока сугубо житейские. Ведь вчера он основательно напортачил: на самой обыкновенной воды, ни запалившего сухарика не взял с собой. Это непростительно прежде всего потому, что рядом искалеченный войной товарищ, у которого вся надежда только на него, Савелия.

Сейчас, ночью, вчерашнюю промашку, конечно, не исправить. Значит, всем этим займется утречком, когда соответствующая видимость установится. И начнет с воды; есть на примете овражек, где должен быть родничок или ручеек. Наполнить водой надо будет не только фляжку, но и каску Николая; в бескозырке, известно, воды не принесешь, из нее лишь напиток можно...

Итак, этот вопрос вроде бы решен, правда, пока только теоретически.

А вот с едой во много раз сложнее, ее добывать у фашистов придется. Уловить какого зазевавшегося и...

Однако на все это время надобно, время! А его кот заплакал: Лазареву неотложная врачбная помощь необходима. Может, если быстро врачи вмешаются, удастся спасти хотя бы один глаз?

Эти вопросы Савелий мысленно и прокручивал, плау-тал в них всю ночь. Поэтому и прозевал момент, когда небо начало светлеть. Савелий просто вдруг удивился, что уже не угадывает, а отчетливо видит иголки на ело-вой ветке, нависшей над лицом. Он сразу сел, осторож-но и заботливо подогнул пинцель под Лазарева и за-мер в нерешительности: будить его или нет? Пришла к выводу, что, не обнаружив товарища, Лазарев вовсе распекуется, и еле слышно позвал:

— Никола... Ты спишь?

— Чего тебе? — немедленно отозвался тот.

— Понимаешь, прошляпил я вчера. Даже воды, что-бы напиться, не имеем...

— На фляжку мою намекаешь? На, бери. И веще-вой мешок прихвати. Там безопасная бритва. Почти новая: перед самой войной купил.

Захотелось трахнуть Николая кулаком по башке, но сдержавшись, сказал как только мог спокойно, даже лас-ково:

— Только фляжку и каску дай. Тебе же воды при-несу.

Но Савелию, ориентируясь на его голос, а в про-странство Николай протянул то и другое. И Савелий понял, что сейчас, отдавая каску и фляжку, Николай мысленно прощался не только с ним, Савелием, но и с жизнью вообще. Стало до слез обидно, однако сказал ровным голосом, словно ничего не понял, не почувство-вал:

Думаю, около часа прохожу. И ты зря не психуй, как лежишь, так и лежи. Услышишь треск ветки под чьей-то ногой, шагн вообще или людские голоса — за-мри, не выдай себя шевелением.

Николай промолчал, будто и не услышал наказа. Савелий постоял, с укоризной глядя на него, потом, вздохнув, повернулся и зашагал к овражку, который приметил еще вчера, когда вел Николая сюда.

В овраге оказался родник. Савелий наполнил, по по-яс вымылся и лишь тогда наполнил фляжку и каску холодной водой. Теперь, вроде бы, самое время возвра-щаться к товарищу, чтобы успокоить его, однако неку-шение взглянуть — только взглянуть! — на вчерашнее поле боя было столь велико, что, спрятав каску с во-дой под куст, а фляжку прикрепив к поясному ремню, Савелий осторожно и в то же время решительно по-шел к опушке леса.

А пад головой гусаво гудели моторы фашистских бомбардировщиков, они, как и вчера вечером, бомбили позиции полка, отступившего километров на пять.

До опушки леса оказалось чуть больше пятисот мет-ров. А он вчера считал, что они с Николаем, как мини-мум, на километр в лесную чащу углубились...

Пристроившись под кустом, осмотрел вчерашнее по-ле боя. Прежде всего увидел груды обгоревшего, иско-реженного взрывами металла; это было все, что бега-лось от множества фашистских грузовиков, тягачей, орудий и танков, несколько часов назад грудившихся здесь.

Потом скользнул глазами вправо и на холме, чуть отступившем от шоссе, увидел ровные ряды поповых деревянных крестов.

Что ж, давно известно: фашисты — большие аккура-тисты, они даже своих покойников шеренгами хоронят.

Не было на вчерашнем поле боя трупов и наизв-содат. Где они — нашел сразу: их сбросали в окоп и завалили землей; даже танками протюжили это место. Видать, ненависть фашистов так огромна, что и мерт-вых советских солдат они стремились раздавить много-пудовой тяжестью.

Осмотрел все и решил, что никакого фашистского вояку пока улавливать не надо, что продукты он обя-зательно найдет там, на кладбище фашистской боевой техники: хоть одна из тех машин да везла консервы или еще что-то съедобное, хоть в одном из тех танков экипаж, бежавший в панике, да оставил что-то съест-ное. А много ли им с Николаем надо?

В мирной жизни дойти до тех машин и танков — минут десять хорошего хода. Но сейчас по шоссе сну-ют грузовики. К фронту — со снарядами, минами и патронами, обратно — порожняком или заполненные ранеными. Не часто, но проходят по шоссе вражеские

машин. Вот и приходилось все время быть предельно осторожным. И Савелий более часа то полз окопом, то замрал, прижавшись всем телом к земле, пережидая, пока не стихнет рев мотора очередной машины; лишь раза два или три позволил себе короткие перебежки.

В первом же танке он нашел солдатский ранец, набитый едой, нижним бельем и всякой мелочью, которая может пригодиться в повседневной жизни на войне. Безжалостно выкинул все, кроме еды. Обшарил еще два танка, заглянул в кузов грузовика, лежащего на боку. Теперь еды было столько, что едва застегнул ранец. Посетовал, что нельзя уничтожить все, валявшееся здесь, и снова ползком и короткими перебежками — к лесу, где каждое дерево гарантировало ему защиту от глаз врага, судило спасение.

Не верил Савелий в выдержку Николая, очень сомневался, что тот не пальнет из винтовки или — и того хуже! — не метнет гранату, услышав осторожные, крадущиеся шаги, случайный треск ветки. Поэтому метров за пятнадцать до ели начал чуть слышно и беззаботно напевать: «Ты, моряк, красивый сам собою...»

Пролез под ветки, почти касавшиеся земли, сел рядом с Николаем. Не успел и слова сказать, как тот судорожно схватился за него руками. В этот момент с груди его и скатилась граната «лимонка».

Савелий понял, душой почувствовал, что пережил Николай за часы его отсутствия. А за гранату, упавшую с груди, даже проникся большим уважением: уже знал — не каждый способен смерть в одиночестве предпочесть плену.

Будто не заметил Савелий ни гранаты, ни того, как судорожно пальцы Николая впились в его руку. Он сказал обыденно:

— Испей водицы. Родниковая!

Сказал и сузил в руку товарища фляжку. Тот привычно ухватился за ее пробку, помедлил немного и спросил:

— Каску, выходит, посаял? Жаль. Из лес бы сейчас нашлись, а фляжку про запас оставили. Она, фляжка, что? Ее прикрепи, куда положено, и шагай себе. Каску же в руке таскать надо. И осторожно, чтобы зря воду не расплескать.

Поправилось Савелию и это: по-хозяйски рассуждает, значит, к жизни уверенный возврат начал.

Напились, поели без спешки, основательно. Потом, унаковав ранец и пристроив его к себе на спину, Савелий шутливо скомандовал:

Начать марш-бросок!

Ожидая, что Николай привычно огрызнется, бросит какую-нибудь колкость. Но тот смолчал. И они пошли на восток, туда, где сама земля стояла от множества вырывов.

Несколько раз останавливались, и Савелий уходил в разведку. Теперь Николай спокойнее ждал его. Только «лимонку», уже не таясь, доставал из кармана шпидели.

Сколько километров прошли, Савелий не мог сказать даже приблизительно; разве это скорость, если ты ведешь по лесу слепого товарища, за себя и за него смотришь, если он частенько жалуется на страшные головные боли и тошноту?

Особенно измотало болото, дороги в обход которого Савелий не нашел. Наломали ноги на его кочках и топляках, догнивавших в затхлой воде, вымокли почти по пояс. Все последние силы этому проклятому болоту отдали. Потому, едва выбрались на взгорок, едва оказались среди сосенок на сухой земле, Савелий усадил товарища на песок и сразу засуетился:

Сейчас самое время маленький костерчик соорудить. Такой, чтобы без дыма... Обсушимся, обогреемся, и сразу силы вернутся.

Потом сидели у ласкового огонька, поворачиваясь к нему то одним, то другим боком. Долго молча сидели. И вдруг Николай выпалил:

— У меня флотский песту увел.

Не сразу Савелий понял, что это своеобразное извинение за все обидное, сказанное ранее. Хорошая теплота подступила к сердцу. Однако сказал строго, как старший, поучающий несмышленыша:

— Увести можно козу, корову, лошадь или еще что. А песту — они уходят. — Помолчал и продолжил уже более мягко, даже вроде бы сочувствуя: — Видать, он больше ей приглянулся. Как говорится, сердцу не прикажешь.

Мог и развить свою мысль: дескать, это и к лучшему, что она сейчас, до замужества ушла; во много раз было бы больнее, если бы семья порушилась. Не сказал, лошадию Николая и круто сменил тему:

— А за что тебя кучерявым дразнили? Как погляжу, голова твоя с кудрями вовсе не знакома.

И тут что-то похожее на улыбку тронуло губы Николая, он ответил даже с непонятной радостью:

— В школе я тогда еще учился. В пятом классе. Ну, приехали к нам в деревню три артиста из города. Пели, стихи рассказывали... А мне тогда уж больно одна песня нравилась, я по радио ее слышал. Может, она и не песня, может, она и как-то иначе называется... «Мальчик резвый, кудрявый...» Страсть как тогда мне захотелось услышать ее. Вот и заорал: «Спой про кучерявого!» С тех пор до самого призыва в армию меня и дразнили...

Так начался разговор, из которого Савелий узнал, что родом Николай из-под Воткинска, все его образование — шесть классов, а в армии второй год служит.

С большой теплотой Николай рассказывал о своем детстве и одиосельчанах. А закончил вопросом:

— Сам-то ты, Савелий, с каких мест будешь?

Устал, намотался Савелий за день, ему сейчас требовалось полежать, помолчать. Однако то, что Николай начал оживать, проявлять интерес к жизни, чрезвычайно обрадовало. Только потому и ответил, правда, скупое, кратко, что родом с верховьев Камы. С четырнадцати лет вместе с отцом-капитаном ходил по ней и по Волге на буксирном пароходе. А потом, когда подошло его время, ушел на военную службу. Определили на военный флот. И вот уже семь лет флотской службы за плечами.

— На сверхсрочную остался, — сделал вывод Николай.

— Нет, браток, все еще срочная идет.

Николай помолчал, набираясь смелости, потом все же сказал, сказал осторожно, боясь обидеть недовверием:

— Флотские, как мне помнится, пять лет служат. Или путаю?

Савелий ответил спокойно, что срок лично его службы истек еще в тридцать девятом году. Уже чмоданчик купил, стал даже прикидывать, как уложить в него все, чем обзавелся за годы службы, но тут громыхнула война с Финляндией. Ну, демобилизация и обошла стороной Балтийский флот. А в сороковом — Латвия, Литва и Эстония изъявили желание к нам присоединиться.

Думалось, фашистская Германия и вообще капиталистические страны восторгом встретили это историческое событие? Короче говоря, балтийцам пришлось опять быть в полной боевой готовности... Продолжать, или уже понял, почему семь лет службы набегало?

В ответ Николай только и сказал, что теперь ему надо, почему он, Савелий, заматеревшим мужиком выглядит. И предложил, когда, затушив костерок, стали укладываться на кочеге:

— Может, я начну ночь слушать? А ты поспи... Или тебя под утро больше в сон клонит?

6

Шли уже восьмой день. Вернее — брели. Сначала двинулись к фронту, потом в обход его, чтобы выйти в наш тыл. Сегодня фронт трохотал чуть-чуть за спиной. Значит, еще самую малость пути осилить необходимо. Однако сегодня каждая сотня метров дается с трудом. Иной все больших и больших усилий: сказываются полуголодный паек, который сами себе установили, и почти бессонные ночи в сыром и холодном лесу.

За эти дни привыкли друг к другу, научились понимать многое и без слов. Так, начиная Николай записывать понаше, еще и слова не сказал, а Савелий уже угаживал его, где получше, поудобнее, и почти всегда немедленно уходил в разведку.

В конце второго дня пути Николай винтовку закинул на спину, в правую руку взял палку, вырезанную Савелием из молодой березки. Палкой он ощупывал землю перед собой. И вообще теперь она стала его верной помощницей, теперь, даже готовясь ко сну, он прищипывал ее так, чтобы сразу схватить. Как и винтовку.

В первые ночи переговаривали о многом, и так хорошо сейчас знали прошлое друг друга, будто росли вместе. Рассказывали только правду. И радостную, и горькую. Сама обстановка к этому обязывала.

Оставили фронт за спиной, поверили, что самое страшное миновало, ну и невольно поддались усталости, позволили себе чуть-чуть расслабиться. Поэтому Савелий внезапно остановился, будто на стену налетел, когда без предварительной разведки вышел на маленькую полянку и вдруг на противоположной ее опушке увидел восемь солдат. Все были с автоматами, в пешей форме и настороженно разглядывали их.

— Ты чего, Савелий? Чего остановился? — встревожился Николай, ткнувшийся лицом в его спину.

Савелий не ответил. Он придирчиво рассматривал обмундирование и оружие солдат: не фашисты ли перодетые?

Возможно, и не скоро пришел бы к правильному выводу, если бы не увидел фашистского солдата. Без оружия и со связанными руками. Увидел его — понял: наша разведка возвращается с языком!

А Николай ничего этого не видит, ему просто передается волнение товарища, и он выхватывает из кармана шинели заветную «заимку», почти кричит:

— Почему ты молчишь, Савелий?

Савелий не мог сказать ни слова: он именно сейчас почувствовал, как велика первая и физическая усталость. Поэтому в ответ одной рукой обнял Николая за плечи, на мгновение привлек к себе. Лишь после этого сказал прерывающимся от радости голосом:

— Наши, Никола, наши в двух шагах...

Этот короткий разговор слышали и солдаты. Один из них вышел вперед и спросил одновременно строго и доброжелательно:

— Кто такие? Куда идете?

Едва упали в сторожку тишину четыре этих слова, Николай, охнув, стал оседать. Савелий подхватил его, не дав упасть. Тут Николай и заплакал. Впервые за все эти дни. А у Савелия не было слов, которые могли бы как-то успокоить, он только прижал его голову к своей груди.

Теперь уже все разведники, оставив около языка лишь одного своего товарища, толпились рядом, сочувственно разглядывали, совали в руки хлеб, кисеты с табаком. А командир разведки протиснул фляжку:

— Разрешаю по одному глотку для сугрева.

Николай перестал плакать внезапно. Будто устыдившись своей слабости, решительно отстранился от Савелия, потянувшись рукой к ближайшему солдату и долго тщательно ощущивал его гимнастерку, плащ-палатку, автомат.

А Савелий, которого в это время засыпали вопросами, только и сказал, что идут они уже восьмью сутками, что Николай служил в таком-то стрелковом полку. Про себя умолчал: от радости забыл. Можно или нет упоминать отряд, в списке которого он числился.

Разведчики быстро соорудили носилки, уложили на них Николая. Тут он вдруг заволновался, почти закричал:

— Савелий! Где ты?

— Чего орешь, рядом я.

— Где ты, где? — не успокаивался Николай.

Савелий положил руку на плечо товарища. Тот ухватился за пек и замолчал.

Разведчики принесли Николая к медсанбату. Все время, пока шли сюда, Савелий шагал рядом с носилками, все это время Николай молча цеплялся за его руку. Не отпустил ее и тогда, когда повели в операционную палатку. Командир разведки уже рассказал врачу то немного, что успел узнать, и тот разрешил Савелию войти в операционную. Там обоих посадили на табуретки, стоявшие рядом; держась за руки, сидели они.

Прикоснувшись врач к бинтам на голове Николая, медленно отвернулся, уставился глазами в землю Савелий: хотя товарищ не издал ни звука, ему стало больно, словно от его собственных ран собирались отдрать присохшие бинты.

Так и сидел, пока последний окровавленный бинт не был брошен в таз, где подобных бинтов было не счесть.

Сидел и настороженно ловил отрывистые реплики врача. Вот он потребовал ножницы... Приказывает какой-то жидкостью обработать раны Николая...

Тягостны, мучительны были эти минуты ожидания окончательного приговора врача. Даже голова разболелась.

И вдруг испуганный шепот Николая:

— Мамочка родная, а я вижу... Тебя, доктор... Тебя, сестрица... Я снова все вижу!

Диким голосом закричал Николай, волком взвой от боли — Савелий воспринял бы это как должное. Но то, что услышал, было сказочно невероятно, и он с искренней тревогой посмотрел на Николая: в своем ли уме?

А тот, сейчас счастливейший из людей, смотрел на него влажными от слез радости зеленоватыми глазами, смеялся и беззвучно плакал одновременно.

Вернул к действительности врач, который добродушно ворчал:

— Вы, молодой человек, к сожалению, не знаете даже азов медицины. Отсюда и ваша повышенная нервоз-

ность. Небось себя и товарища истерзали воплями о своей слепоте? А знай вы хотя бы самое элементарное, вспомнили бы, что контузия довольно часто порождает временную слепоту...

Врач говорил еще что-то, но Савелий больше не слушал его, он с отчетливой ясностью понял, что больше не нужен Николаю, что снова остался один. И он встал, сказал, глядя мимо людей:

— Счастливо оставаться... И спасибо за все.

— Ты куда, Савелий? — встрепетулся Николай.

— Своих искать.

— А я? Меня бросаешь? — разволновался Николай, осторожно, но решительно вырвал из рук медицинской сестры конец бинта, который оставалось лишь закрепить на его голову. — Дудки, Савелий, теперь я от тебя не отстану, теперь я за тобой, как нитка за иголкой, всюду потянусь!

Сказал это, поклонился сначала врачу, потом сестре:

— Сердечно благодарю за помощь.

Врач, повысив голос, грозно заявил, что ему, красноармейцу Лазареву, просто необходимо хотя бы несколько дней побыть в медсанбате, восстановить силы, дать зарубцеваться ранам. Николай в ответ решительно подтолкнул Савелия к выходу из палатки. Пока они были в операционной, большая черная туча закрыла солнце, обрушили на землю потоки воды. Но друзья бодро зашагали по дороге, не обходя пузырящихся луж. Шли к фронту, и Николай яро убеждал Савелия перейти служить к ним в полк, клятвенно заверял, что, если потребуется, дойдет до любого самого высокого начальства, но получит соответствующее разрешение. И тогда они всегда-всегда будут рядом!

А Савелий отмалчивался. У него было радостно на душе, так радостно и светло, что не хотелось думать о ближайшем будущем. Хотя бы — еще несколько минут.



Виктор Болотов

ОСНОВА

Коль что не так,
или пустое слово
скажу — от горькой правды в стороне, —
здоровая крестьянская основа
сурово
вновь заговорит во мне.
— Чей хлеб ты ешь?
Откуда, чей ты родом?
Забыл?
Без роду-племени уже?..
И — жаркий стыд...
И это —
год за годом —
все глубже укрепляется в душе.
Да, я встречал иных говорунов
и сам грешил:
— Да хватит, мол, об этом!..

Но помню:
тихо плакал агроном
над мертвым полем
помертвевшим летом.
Доныне память
плавит мне виски:
идем полями,
чуть дыша от жара...
Но знает каждый:
наши колоски —
они и есть
наш каравай державы!
Да, в этом
человек — как на свету:
земля — любовь

и заповедь отцова.
Я крошки хлебной на пол
не смету.
Она навеки в нас —
основ основа.

* * *

Поэзия?
А что она?
Обмолвка?
И шепот?
И нечаянная речь?
Ах, боже мой, изречь,
не тратя толку, —
и губ, и нёба даже не обжечь!..
Но лучше помолчать.
Тут где-то слово,
неслышанное отроду людьми,
оно уже под сердцем бьется снова —
невольное признание в любви.



Авенир Крашенинников

ДЕВУШКИ ПОЮТ...

Рассказ

Солнце настроилось к закату, но показалось таким ослепительным, что Стенька зажмурилась и даже ладонью заслонилась. После тусклых лампочек под жестяными козырьками, после бледноватого рассеянного света в замкнутых цеховых пространствах, на воле режало глаза. Стенька привычно не замечала в газонах, в морщинах старого асфальта крупяную перестиль сажки. Хохолки вешней травы топорщились над прошлогодним хламом, пятаки мать-и-мачехи желтели между пням.

Оказывается, снег давно сошел, бабочки-капустницы уже выплывают на припек. Куст волчьих ягод, весь в чернильных бородавках почек, заливиисто орет и прыгает. Да нет, не куст, конечно! Это в нем худоганят воробьи.

Стенька распахнула стеганую фуфайку. Господи, моршо-то как!..

Хотя ничего хорошего Стеньку не ожидало. Она сегодня вырвалась пораньше — обходить большую мамку. Ангелина Прокофьевна слабла и усыхала, будто игальку проглотила. В этом бедном горестном скелетике ни намска не осталось на сильную росаю женщину, широкослицую, большерукую, какой была еще два года назад. Стенька всеми статями удалась в нее, в прежнюю, как будто Ангелина Прокофьевна переселилась в дочку, остался на свете лишь бесплатный дух.

Подлинное имя у Стеньки — Степанида, а еще проще — Шешка. А вот фамилия громкая, лихая — Разица. И уж как тут не назвать ее Стенька Разица! Да и характер на прозвище это впрямую паталкивал. Решительная была девушка, чего захочет добиться — пойдет

напролом. Однажды, перед самой войной, собственного родителя своего, жиделького, блудливого пакостиника, маманькиного мучителя, на потеху честному народу катила тумаками по всему рабочему поселку до железнодорожной станции, колесом загнала в вагон. Не посчиталась, что родитель тоже ходил в Разиных. Родитель сплунул, маманька зачала: видно, на прощанье он умело ей в самое важное место приметился. И никак не понимала Стенька, за что вспоминала его Ангелина Прокофьевна, улыбаясь слезами, за что привнималась ругать свою дочку: дескать, оставила ее в одиночестве.

Да и сейчас нет-нет да и всплакнет:

— Где он, Тимоша-то мой, бедная головушка-а?..

Где, где! Война кругом, себя в пору потерять. Горе всякому в ухо дышит, а маманька о чем плачется!..

Стенька на ходу повела глазами по окошкам домов, точно высматривала в их багровых отблесках и бумажных крестах на стеклах подтверждение своим думкам.

Домы строились десяток лет назад из шлакоблоков в четыре этажа, одинаково серые, мрачноватые. Номеров на них не нарисовали, молоденькая почтальонша путалась, треугольнички с фронта бросала не тому, не тому похоропкой память отшибала. Лично в руки письма отдавать никак не получалось: квартир слишком много, жильцов в них и того больше, да и тех не застанешь. Завод натужно сопит под горой, ухаает паром, выжимает из труб вязкую пасту черного дыма, рабочий народ дышет и почует в его закопченных хоромах.

За всю недолгую дорогу, пока Стенька от проходной кирзовыми сбитыми сапогами стучала, два-три человека попались навстречу. Лишь по газонам носилось угланье, подлибая друг дружку подножками, — в школе занятия частенько отменяли, а может, просто смылись с уроков.

Ну вот и дом, в котором жила Стенька Разина. Голый двор — ни травки, ни кустика, одна коричневая земля, перемешанная с мартеповским шлаком, сарай с выдранными ребрами, с дырами клетей — в лютую прощлую зиму все, что можно, истопили. Какая-то девушка в платочке сутулится на пеньке, что остался от скамейки. Да это маманька! Сама на солнышко выбралась. У Стеньки прокатилась по сердцу теплая волна.

А куда это маманька смотрит?

— Погляди-ко и ты, Степанида, шпана что-то пако-

стит, — шелестяще сказала Ангелина Прокофьевна и шевельнула на коленке рукой.

У дальнего сарая сгрудилось несколько подростков. Топтались, просовывались вовнутрь, хохотали ломкими козлиными голосами. Степанида почуяла неладное, бурей сорвалась с места. Подростки мигом сбежали. Тощие, в залатанных одежках, они все-таки, как все подростки вообще, сразу не сдались, а на хорошем расстоянии от Стенькиных тумачков остановились и заобзывались:

— Плаха толстомордая...

Стенька повернулась к ним широкой своей спиной и тут заметила двух дошклат, испуганно припавших к стенке сарая. У того и у другого в кулаке было зажато по конфетке-подушечке, которые выдавали в пайках на заводе.

— А вы чего здесь околачиваетесь?

— Да там тетенька лежит. Хлеба просит. А у нас хлеба нету. А Петька Чирьяков говорит: «Давайте, ребята...» — Они заговорили наперебой и вдруг застеснялись, Стенька не стала дослушивать.

В сарае со света ничего не различить. Гнилостный запах забивает ноздри. В стороне виднеется что-то вроде вороха тряпья. Из вороха высовываются тощие синеватые колени. Едва Стенька все это разглядела — даже сердце захолонуло. Сгребла ворох в охапку, поставила торчком на свет.

На нее безразлично глядело изможденное лицо с кулачок величиною, обтянутое серой кожей. Бессильные веки закрывались под тяжестью огромных ресниц. Бескровные губы маленького рта силились что-то сказать. Стенька от удивления выпустила ее, даже отступала, следила, как та, осев на прелое щепье, шарила руками.

Стенька догадалась, чего она ищет, опять сгребла ее и, почти на весу поддерживая, вытащила из сарая. Об Ангелине Прокофьевне, сидящей на пеньке, она сейчас позабыла.

Соседей по квартире никого не оказалось, можно было без расспросов да охов на кухне хозяйничать. Она отодвинула в угол табуретку, устроила находку свою, погрозила пальцем: мол, сиди, не кувыркнись. Дрова и ведра с водой еще в прошлый свой кратковременный отпуск для маманьки заранее приготовила. Теперь все было под руками, и полешки трещали в топке, и ведра

пошипывали на открытых конфорках плиты. Из комнаты она принесла ножницы и стригальную машинку — на мамашкиной голове парикмахерскому делу обучилась. Разостлала на полу газету, чернеющую сводками «Информбюро», вместе с табуреткой поставила находку посередине кухни, сдернула закоробевший платок.

Ругалась сквозь зубы — ножницы не брали, ножницы скользили. Маленькая головка на тоненькой, как прутик, шейке покачивалась перед нею. Она втирала в безвольную синюю эту головенку тряпкою керосин и все опасалась, чтоб не хрустнул прутик, не сломился. Вместе с газетой кинула в печь волосы, в пламени закричало, завывало что-то и пропало. И лохмотья, кусок за куском, сожгла в топке. Завоняло в квартире палениной, да что было делать. А потом вехоткой отмывала синие ребрышки, впадину живота, сухие, словно у кузнечика, ляжки. Ни брезгливости, ни жалости не было, а только желание поскорее покончить со всем этим, чтобы проглянул человек.

За спиной Стеньки, у дверной притолоки, неслышно стояла Ангелина Прокофьевна, к подбородку ее стекались слезы и быстрыми каплями соскальзывали с его острия.

Утро začínалось чистое, заводские думы отнесло за реку, воробьиным гомоном начинило кусты. Хлопали в подъездах двери, переговаривались сонные голоса, кашляли работнички, отхаркивая гарь, махорочную накипь, подавались к заводу.

Стенька пошла на кухне пустою кияточку с коркой хлеба, тоже собиралась. Ангелина Прокофьевна провожала:

— Все, все вукурат сделаю, доченька. И Людмилку приберу...

Как появилась Людмила, у Ангелины Прокофьевны внутри словно живой огонек воскрес. Отдыхая по-минутно, она все же умывала Людмилку, растирала каню-заваруху с постным маслом, из молодой шелковой крапивки, листочков подорожника налаживала салат, кормила девочончку с ложки.

В лохмотьях у девочонки Стенька еще в тот памятный вечер, когда вытащила ее из сарая, обнаружила свидетельство, по которому значилось имя, отчество,

место рождения. От роду Людмилке было едва пятнадцать. Как она попала из-под Гродно сюда, в рабочий поселок уральского города, что с нею стряслось в дороге — ни Стенька, ни Ангелина Прокофьевна не допытывались. Надо подождать, пока не оплется. И вот Ангелина Прокофьевна теперь сама умывается-причесывается замочла, Людмилку посылает выхаживала. Стеньке можно было не разрываться на части.

Привычный гул моторов окружал ее, веяли по потоку от движения шпиделей теплые, в запахах металла, эмульсий ветерки. На длинных столах, будто продолговатые дыни, какими до войны торговали на рынке щекастые узбеки, рядами лежали тяжелые снаряды, только без смертоносной начинки.

Стенька охватила все это одним привычным взглядом, зашагала к своему станку. У бригадириши, которую она сменила, бровнями распухли ноги, желто отекло лицо. Бригадириша еле уступила место, еле подбирая слова, чтобы доложить обстановку. Девчущка-учетница, привставая на цыпочки, мокрой тряпкой свила с прифельной доски старые цифры выработки Стенькиной бригады. Если бы кто-то до войны сказал Стеньке, что такая выработка достижима, получил бы по загривку. Мастер Поликарп Васильевич пришел с бумагой, усыпленной карандашной цифирью. У него вечно болело горло, он обматывал длинную шею зановенной портяжкой, которая когда-то называлась кашле, при разговоре шипел гусакон.

Девчата уже стояли на своих местах. Стенька ничего не сказала им о Людмилке, но после ее появления как-то по-особому в каждую всматривалась. Ровесницы почти что все они, ну там годок-другой разница, а Стенька материнским чувством к ним переполнялась.

От нее у них секретов не было. Да и какие такие секреты могли они заставить? Вот Антоида Канелькина, спокойная деваха с тихими коровьими глазами. Год назад она была дебелая, вальяжная, ныне щеки пропали, на руках подрыбла кожа. Отец у Антоиды воюет, мать сиделкой в госпитале дежурит, пятеро сестренек и братишек на шею.

Там, подальше, Нюрка Шидкова, маисенькая, быстрая, точно векша, кудерьки из-под косынки стружками вырываются, тараторка, забияка. Парни с ней пробуют заигрывать, на острые кулачки натякаются, в панике

бегут. Папаша Нюркин, Алексей Ильич, такой же маленький и шустрый, в мартеце сталь варит.

Алена Савельева — эта постарше, у нее сын прошлой осенью в первый класс пошел, а муж — на фронт. С тех пор от мужа ни слуху ни духу, точит Алену неумная тревога, застывает чистые серые глаза ее, сгибают худенькие красивые плечи.

С этими подружками у Стеньки полный лад. А вот Файка Репейникова беспокоит. Кошка драная, глаза дакис, зеленые, губы точно от жара до коросты полопались. Только свободное времечко — в госпитале, задравши хвост, с ранеными блудять! Ведь нарвется! Ох, взять бы да отлупить ее по вертучей заднице!

— Ты молчи, молокососка, — на полусмехе огрызается Файка, зная, что бригадирша на два года младше. — Самой небось охота!..

Весна, что ли, охмеляет? Вроде бы за эту тяжкую зиму устал в каждой клеточке тела грузом накопилась, вроде бы от пустых похлебок и жиденьких кашниц, от скудных паек не больно-то заигралась, но Стенька и вправду тоже тосковала. Людмилку отмывая, невольно вспомнила, представила и то, что с нею самою было. По-другому, по-другому было, и на любом суде, если бы только возможно, не устыдилась бы Стенька прямого признания. Да вот то, что в прошлом, «было» — вот это словечко страшнее.

В рожь их с Борисом занесло. До леса рукой подать, елки шатрами раскинулись, поляны у ручья в пестрых июльских спелых трав. Но сколько там вокруг всяких глаз — никуда от них не скроешься! А рожь высоко поднялась в жаркое и влажное лето, колосья от спелой тучности наклонились, и горячим хлебным духом обдает лицо мучнистая земля.

Стенька сама повела Бориса по тропинке в ржаное царство, и только васильки на них глядели.

— Как твои глаза, — сказал потом негораздый по слову Борис.

Она не впервой такое сравнение слышала, но то, что у них с Борисом стряслось, как-то по-другому выделило обычные эти слова. Завтра Борису уходить на фронт, а сегодня был их полдень. Она хотела от него ребенка, еще не умевая ни отдавать себя, ни беречь, она хотела, чтобы Борис остался в ней, и ее сильные грубоватые руки сделались такими нежными, такими ласковыми.

что он губами трогал их и плакал. Могучий парень, которому ничего не стоило целую смену в прокатке перебрасывать клещами через валки трехпудовые железные листы, плакал и целовал ее шершавые, как наждак, потрескавшиеся от эмульсии руки.

Он был из детдома, родителей не знал, даже фамилию ему присвоили самую обычную — Иванов. Его провозжали прокатчики и Стенька. Он постеснялся при всех ее обнять, обещанья выкрикивать, но она по выражению его круглого доброго лица, его глубоко посаженных под толстые брови глаз, которые только на нее смотрели, вычитала все и поняла — это навсегда.

Ребеночка он ей не оставил. Она получила от него только три письма. Одно — из каких-то лагерей, где их учили на пулеметчиков, другое — из госпиталя, третье, долгое время спустя, уже в походе зимы, опять с фронта. Писать он не умел, как и вообще не был краснобаем. Две строчки: жив, здоров, чего и вам желаю. Но в этих двух строчках заключалось высшее доверие к ней. Борису не было нужды, даже если бы он умел это, клясться да божиться, заплакать да уговаривать. Он сообщал самое для нее важное.

Когда пришло последнее письмо, зима стояла еще держала в воздухе блескучие льдинки, по углам цеха белыми привидениями маячили снежные фигуры. А у Стеньки на душе — майский ветерок. Стенька запустила станок на самоход, нажала пусковую кнопку второго и, выдыхая пар, вдруг запела. Голос у нее, конечно, не обточен, не отшлифован, но густой, мощный, такой широкой медью из груди выливает. Что это? Вроде кто-то вторит ей! Антонид! Антонид! улыбаясь тихими своими глазами, вступила в песню, прилегла к ней свое богатство. Нюрка Шилкова, повертев рукоятку, вдруг расшила песню полетным серебряным подголоском. Вот и Алена Савельева распрямилась, провела тылом ладони по лицу и, сперва неуверенно, боясь подпортить, подхватила. И Файка Репейникова, стараясь погромче, резким визгливым звуком врезалась, однако приспособилась, поймала верный тон.

Пели трехголосем, радуясь, что выходит, ладится, играет песня, и воздух вроде бы теплеет вокруг, и люди оживают, расправляются, теплеют.

Конечно, на весь цех и по репродуктору хоть ораторись — не услышат, а токарный участок и заготов-

идишь слышал. Сперва даже от работы отключились, но ненадолго, уши как-то сами в привычном разномодосе станков песню выделяли. И даже музыка слышалась тому, кто хотел ее слышать.

А по пролету нарезал к Стеньке сам начальник цеха, глаза у него — больше очков. Оказывается, Поликарп Васильевич услышал, как девки грянули, пробовал остановить, да на шпилье его никто не обратил внимания. Ну и поворотил он к начальству.

— Беда! Разные девки всей бригадой рехнулись!

Начальник цеха, тоже человек пожилой, строгих правил, не столько самого пения испугался, сколько того, что снарядов может быть меньше. За это по головке не погладят. Отозвал Стеньку к инструментальному шкафу, сказал, посверкивая стеклышками очков:

— С чего это вы самостоятельность развели?

— Да ты не беспокойся, — расплылась в улыбке широкими губами Стенька. — Русский мужик под песню самую трудную работу осиливал.

— Мужик... Вы-то вроде не мужики.

— Вроде Володи, наподобие Кузьмы. За трех мужиков каждая чертоломит. Так и будем. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы! — призвала она своих, и те уже из азарта откликнулись.

Начальник цеха и Поликарп Васильевич ревниво и пристрастно следили, как на стол один за другим ложатся теплые еще, обтертые тряпочкой снаряды, придраться не могли...

Вскоре по заводу просквозил о поющей бригаде слухок. Из завкомка баянист явился, не запылился. В перерыв собрал певуний в красном уголке, сказал:

— Есть предложение, чтобы вы пели в организованном порядке. Перед рабочими в пересменке выступить станете, в госпиталях вас покажем.

Тут Файка Репойникова хихикнула и остальные расхохотались. Баянист обиженно собрал губы в воронку, расставил девчат: Файку и Нюрку по левую свою руку, Алену и Антонида — по правую, Стеньку еще правее.

— Такому не бывать, — сказала Стенька и полезла в середину.

— Ну что за дикий народ! Я же по голосам вас распределил, для удобства управления.

— Никакого управления нам не требуется, — объявила Стенька. — Самп с усами и другими... чудесами.

— Слишком грубо вы, уважаемая товарищ Разина, выражаетесь, — поморщился баянист. — Девушке это не к лицу.

— Ах, простите-извините, а мы и позабыли, что девушка, — поклонилась Стенька под общий хохот.

Кое-как баянист все же их успокоил. Волосы у него были, точно ежовые шпалки, он встопорчился, scomандовал:

— Начали! И-и! — мотнул головой, впился пальцами в пуговицы баяна.

Песня была знакомая до ноточки, до буковки, но — не пелось, никак не пелось. Будто кто-то рот ладонью зажал, горло перехватил. Девчата сконфузились. Баянист попробовал другую песню, еще одну, ничего не получалось. Даже у самой Стеньки вырывался придушенный вопль. Всех точно подменили.

— Яснонько, — с угрозой подвел баянист черту. — Саботаж.

Но стоило вернуться к станкам, услышать их рокот, стояло руками коснуться шершавой кожурой заготовки, как песня будто сама по себе развернулась...

Конечно, не сплошь двенадцать часов пели, а когда как. Больше с самого начала смены, на свежую силу, и еще — под конец. Потому что в цех пачали заглядывать работники из других цехов, интересоваться:

Поют?

— Поют.

— Значит, жить можно.

Вот такая появилась у бригады Стеньки Разиной обаятельность...

Сегодня неть не очень-то поманивало. И от Бориса ни слуху ни духу, и Людмила все никак в ясное сознание не приходит. Однако Стенька переслышла себя, повела глазами, плечами под промасленной залатанной курткой, запела вроде бы ни с того ни с сего: «Эх, полным полно коробушка, есть и сити и парча»... Воспоминание, от которого все внутри полыхнуло, пробудило эту песню:

..Распрямись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани.

Много ли вичуга полудохлая ела — поклоует да и в сторонку, а все ж таки Стеньке пришлось ломать голову. У Ангелины Прокофьевны на продукты иждивен-

хоть и сдобривали ее все время навозом. Сперва сватались дружно, однако дневная усталость подавляла, все чаще оглядывались и убеждались, что взбуровили махонький ломоточек, а до забора, до черемух даже лошади не дотянуты.

Людмила и сын Алены Савельевой Вадик, в мать сероглазый, с сохолом, точно кисточкой на макушке, делили картофельные клубни на срезки с белыми и фиолетовыми бородавками ростков. Пальцы у Людмилки двигались с пожом умело и проворно, с детства, видимо, приученные, а сама она никак не относилась к окружающему.

— Тётъ, а тётъ, — пробовал разговаривать ее общительный Вадик, — у нас в классе Инна Степановна Гешку и Леньку ругает... У них мамы на работе остались, на фронт их не отпустили, она и ругает. Гешка и Ленька сами на фронт собираются, — шепотом сообщил он, к Людмилке подавшись, будто по секрету.

И вдруг она насторожилась, раскрыла ресницы, словно прозрела: копальщицы запели. Это Стенька, даже для себя внезапно, завела проголосиую, подружки тут же подхватили. И в вечернем воздухе, по которому, зависая, медленно волоклись майские кружи, свободно полилась песня. Лопаты будто сами утонули в землю, па штук, переворачивали ее, разбивали комочки, нетронутая налестина словно сама собой начала убывать.

— Чего разорались-то, мокрохвостки? — затрясла забор соседка Шилковых, — Горе да беда кругом, а они горланцы!

— Остынь, остынь, — урезонивал ее Алексей Ильич, — не порть работу! На-ко лучше закури!

У соседки двое сынов в госпиталях кульгяпки заживляют, один зарыл под Москвой. Ожесточилась старуха, курить до хрипу стала, попивать. Алексей Ильич держал у себя на грядках самосад, душистый крепачок, не особенно щедро — на выбор им угощал, а сейчас свернула соседке и себе по «козьей пожке», и они задымили в две трубы.

Но песня все равно перебилась. В калитку проскочила Файка Рещейникова, в крепдешинном платье и кофте вязаной, в беретике набекрень, тащила за рукав упирающегося парня. Парень был в пиютке, в вывешенной гимнастерке, шароварах и сапогах, чуть принадлеа

на правую ногу. Его озорное лицо, запорошенное веснушками, сияло самой беззаботной улыбкой, которая только на свете случается.

— Глядите, подружки, моего хахаля, пока не опоздали. Послезавтра на фронт убьваает!

Людмила со скамейки приподнялась, вцепилась в скамеечку.

— О-он, о-он! — сдавленным голосом закричала и с пожом, которым резала картошку, на солдата бросилась. — Где моя сестричка, моя сестричка где!..

Файкин дружок за обе руки Людмилку перехватил, над землей, как щепку, вскинул.

— Ты чего, чужная, что ли? Какой я — «он»? — Подставил ее на ноги, будто в копань воткнул. — Тоже жи-ворезка нашлась.

Она закивала горючливо, согнулась и, словно выжимая из себя слезы, заплакала, заплакала наконец-то. Слезы не слезами были, а ртутью какой-то выкатывались. Платок с нее свалился, и все увидели стриженую головушку.

— Ах ты, мать честная! — жалостливо ахнул солдат и провел по жестким колючкам ладонью, едва касаясь.

Антонида Канелькина вытирала скомканной тряпочкой добрые свои глаза и покрасневший нос. Фюрка приоткрыла мелкозубый рот и приподнялась на носочки, хотя ведь таких стриженных да заморенных в город выхаживают. Она и раньше, на тех глядя, не могла сдержаться. Вадик и в самом деле переступался, когда эта молчаливая тетенька на героя-солдата кинулась с возжиком, прижимался к матери, Алена держала его за плечо, успокаивала. Файка повертела в сухих пальцах оброненный Людмилкою нож и закатилась хохотом:

— Ой, не могу, не везет мне с женихами! Как поженяхаюсь, так его и убьют! А этого Петьку чуть на огороде не прирезали!

Стенька с облегчением заметила: все же без враждебности пришли ее подружки Людмилкино нападение, хотя сама ничего похожего от замерзшей девчонки не ожидала и готова была оттрепать ее как следует. Однако Файку пришлось оборвать:

— Чего ты городишь-то, чучело?

— А я не такой, я заговоренный, — усмехнулся солдат.

— Тогда, — решила Стенька, — бери инструмент, шпатель во всю силушку.

Встрепенулись и пошли за солдатом во все лопатки. Людмила постояла на обочине, успокоилась вроде, ни на кого не глядя, начала копать лунки вслед за хозяйкой. Вадик метко бросал в углубления срезки, Алексей Ильич боронил землю граблями на длинном черенке. И оказалось, что за спиной уже забор, и черемуховые лепестки на бровке.

Файка, горделиво оглядываясь на подруг, поливала солдату па ладони из кувшина, он фыркал, разбрызгивал воду, кричал. Подружки стояли полукругом, каждая о своем думала. Лишь Людмила снова держалась в сторонке, очищала палкой с лопат налипшую землю. Файка, само собой, плеснула из кувшина солдату за ворот нательной рубахи, в которой он доканывал, стянув гимнастерку. Характер у парня, видно, был крепкий — ожидали, что вдоволь насмеются, а Петро даже бровью не повел.

«Где-то сейчас мой Борис», — думала Стенька, и щемило у нее сердце, словно железная запоза туда впродалась.

— Уж не обессудьте, что так угощаю, — разводила руками хозяйка.

Выпили по грашеней стопочке отдающей крыжовником настойки, засли картошкой, толченой с луком, раскраснелись.

Людмила тоже приложилась, неумело, мелкими глоточками, закашлялась, хотя вишешко настоялось больше не в градусы, а в пузыри.

— Ты смотри, Петро, какие крали тебя окружают, Красавицы, — захвастался Алексей Ильич. — Ты, Файка, не ощеривайся, не об той красоте я толкую, какая снаружи плянется. По всему заводу, — воздел он палец, — слава об них. И не только работницы, каких поиска-ать... А вот у нас в мартеисе, как печь принимают, спрашивают: «Поют разинские?» — «Поют». — «Ну, тогда робить можно»... Пробовали их, слышь, — воодушевился он дальше, — завкомовские выстроить. Чтоб, как потребуетса, так и запели. Артистками, стало быть, назначили. А у них — не поется. Ни в какую не поется. Верно я говорю? — повернулся он наконец в сторону Стеньки, которой досадно было, что про них толкуют, будто их нет.

— Не знаю, как там в заводе говорят, а по заказу верно не постся.

И тихонько низким своим грудным баском завела: «Спят курганы темные, солнцем опаленные»...

— Та ж это моя песня! — припрыгнул Петро, Алексей Ильич утянул его на место...

Однако засиживаться было педосуг, домой под спасибо хозяев засобирались. Людмила на улице странно мерцающими глазами прямо в лицо Стеньки уставилась, попросила:

— Пошли на пруд. Лихо мне... Не помню, когда песню в последний раз слышала. Думала, забыли люди добрые песни... Тяжко мне было слушать...

И вот, словно плотина прорвалась, — всю беду свою Стеньке выложила. Больше не надо было, почувствовала Стенька, душу травить.

— Пора домой, девка-магушка, простынешь.

— Ты осуждаешь, нет, скажи, осуждаешь?

«Пастырная какая эта тихоня оказалась, и меня за ангела, что ли, считает?» — про себя сердилась Стенька.

— Ты, Людмила, больше не казись. Живи давай...

Темнота все еще не состоялася. Пруд мягко высвечивал, казался бездонным и бескрайним, другой берег растворялся в матовой дымке. Стало прохладно — разгоряченность работой сменилась ознобом. Надо было подаваться домой. Но Людмилку никак нельзя остановить, хотя и начала она повторяться, казниться начала.

Они поднялись в гору. На окнах домов держали затемнение, ни полоски света не проникало наружу. А возможно, все уже спали. Местами попахивало сладковатым дымком сожженной ботвы. Но победно онаивала ночной воздух черемуха, облаками воспарив над землей.

Ангелина Прокофьевна не спала; держась за дверную притолоку, встречала их.

— Что же вы, доченьки, полуночищаете?

— Так уж получилось, маманька, — отвечала Стенька самым низким своим басом.

Газеты ничего утешительного не сообщали. После того, как немцев расшибли под Москвой, они все-таки зацепились, начали огрызаться; трудно дышал истощенный блокадой Ленинград...

Стенька сложила газету, еле поднялась с табуретки. Ноги отекали. Когда целый день стоишь, как-то привыкнешь, но присядешь — потом растоптываться долго.

— Опять нам задание увеличили, девки-матушки, — сказала Стенька, пересиливая боль в ступнях.

— Робить, как всегда, по-фронтовому, — предупредил Поликарп Васильевич; горло у него маленько наладилось в летнем тепле, стал он говорлив. — Там, на фронте, наши сыны, наши братья кровь проливают... Цикахих отлучек от станка, никаких песен!

— Слезай, Васильич, с трибуны, — останавливала Стенька. — Лучше новых резцов нам похлопочи. А насчет отлучек и прочего — сами разберемся.

Мастер обиделся, нахмурился, поднял плечи. Вообще-то он мужик не вредный, только остался как бы в том цехе, довоенном, и работает вроде курьера между начальством и токарным участком. Ладно, лишь бы не мешал. Ну, Файка чертова, опять сзади ему что-то прицепить поровит. Однажды стружку витую снизу подвесила, он полемени ходил с тремучим хвостом, пока Антошда не отцепила. Ну и костерил же он Антошду! До слез довел...

— По местам, — скомацдовала Стенька.

Заметила: Алена Савельевна маяется, мечется кругами у станка. Включила свой на самоход, подошла:

— Выкладывай, что случилось?

— Вадика на «скорой» в больницу увезли. Крупное, говорят, воспаление легких. И где простыл? — Она с надеждой подняла на Стеньку сухие от тревоги глаза, точно этот вопрос был самым важным и на него нужен ответ.

Вчера прибежала с работы — Вадик не встречает. Жили они в маленькой боковой комнате такой же квартиры, какая у Стеньки Разиной, на три семьи. Вадик обычно перед приходом Алены подметал пол, растягивал «буржуйку», стоявшую четырьмя раскоряченными лапами на плите, кипятил чайник. А тут ничего не сделано, сын сидит в углу весь красный, будто ошпаренный, бормочет что-то, венчик с холмиком мусора у самых ног. Алена ладонью задела его лоб и обожглась. Диспансер от дома был близко, с торца на первом этаже открывалась дверь с красным крестом на матовом стекле. Врачиха, старая, вся в морщинах, в страшных очках, выслушала Алену, сказала мужичку, дремающе-

му на скамейке: «Подавай Ласточку». Втроем поехали обратно: мужичок на облучке, врачиха и Алена на заднем диване мягкой коляски.

— Мамочка, ты только не беспокойся, мамочка, — лихорадочно повторял Вадик, пока его на носилках поднимали в палату...

Всю ночь Алена провела около него, утром побежала на работу.

— Ты вот что, ты завтра не выходи, мы за тебя норму сделаем, — безоговорочно сказала Стенька. — С начальством я сегодня же договорюсь. Послезавтра мы выходим в почь, так что у тебя денег еще будет.

Остальные тоже поняли, что у Алены беда, поглядывали от своих станков. В конце смены не пели. Поликарп Васильевич вышел из своей конторки — застекленной с трех сторон будки, строго глянул из-под козырька пенки, которую всегда носил в poche.

— Чего закисли, девки? С нормой зашлись? — Он был уверен, что при повышении норм Стенькиным разбойницам станет не до песен.

Нельзя сказать, что уж таким он был противником песен. Но, как говорится, медведь ему на ухо наступил да еще притопнул, и потом неть надо, считал он, когда положено, то есть в льготное время, а еще лучше — в застолье. Да ведь какое в цеху свободное время либо застолье? И вот все бы ладно, не поют девки в конце смены, а он вдруг забеспокоился.

Стенька вместо ответа пошла к наждачному кругу затачивать резец. Будто и не начальство ее спросило, а так — ветер прошуршал. Вовсе от рук отбились. Хотел прикривнуть, но гудок огласил конец смены, и Поликарп Васильевич в сердцах плюнул, побежал в свою будку.

Алена сразу из проходной поспешила в больницу, Стенька попрощалась с нею, отправилась домой.

Ангелина Прокофьевна с порога ее огорошила:

— Сбежала Людмила. Утресь кипятку со жмыхом похлебала и — за двери. Даже не сказала, куда.

Она обиженно заплакала: все еще слабенькая была, все еще на ладошке поднять ее можно было.

«Уж не хлеб ли опять выпрашивать?» — подумала усталая Стенька и одернула себя. Надо в завод Людмилку устраивать, теперь, поди, можно, под силу ей будет, если бегать может. А вдруг не воротится?

— Записку не оставляла?

— Ничего не оставляла. — Ангелина Прокофьевна зашаркала ногами, подаваясь в сторону кровати.

Придет беда — отворяй ворота! Искать, что ли, по всему городу? Ну ведь не может же так быть, чтобы человек, с которым последнее делили, руку на прощанье не пожмет! Работу, поди, искать пошла самостийно. Ведь в ее головенке никак не завяжется даже понятие такое — завод, цех, станок. Вот и побрела черт знает куда. Сама она, Стенька, виноватая, надо готовить человека, а не ждать, пока того осеит.

«Побродит, вернется, никуда не денется», — утешала себя Стенька, а сама кругами по комнате металась, как сегодня Алена у станка.

— Шлепает, — услышала маманька, которая тоже не лежала спокойно, все ворочалась, охала, вздыхала.

В самом деле, вернулась Людмила. Волосы у нее уже порядком отросли, завились в каштановые жгутики, и платок она повязала не наглухо, как обычно, а пустила концы на один бок, по-цыгански, ей это здорово личило. И платье, из Стенькиного перешитое, уже не мешкотилось, складнее сидело. Только вот ноги все были топчис, как палки, и ботишки сидели, будто даны с переносками у гусыни.

Стенька в осуждающем молчанье штопала маманькин чулок — сама Ангелина Прокофьевна иголку и нитку не видела. Людмила переводила взгляд от присевшей на кровати Ангелины Прокофьевны к сердитой Стеньке и обратно, все не отходила от порога.

— Всть, поди, охота? — скоро не выдержала Ангелина Прокофьевна. — Картофель вареная осталась...

Это на другой после посадки день Алексей Ильич притащил Разным целое богатство — ведро картошки, и они ели ее, уже одрябшую, проросшую, с постным маслом, жарили на тресковом жире.

— Объяла я вас совсем, — монотонно, будто заученно, сказала Людмила. — Пора и совесть знать.

— Чего это сегодня вдруг? — подняла голову Стенька, убедившись, что догадка ее о том, будто Людмила отправилась искать работенку, подтвердилась.

— Какое — вдруг? Я зарок дала, вот как этот завиток, — она подергала кудряшку, — до уха достанет, так и пойду.

— Сказаться-то могла? Не чужие, поди.

— Могла, — опустила голову Людмила.

— Ну и как?

— На железную дорогу ходила, к речникам ходила, и тут артель какая-то. Спрашивают: чего умеешь? Ай, божечка, все, говорю, умею: и сно косить, и за телятами ходить, и корову доить. Ну, говорят, здесь ни сно, ни коров, бери метелку, бери тачку. А может, делу учиться приспособишься? А мне надо сейчас, чтобы дело было, чтобы рабочие карточки, рабочий паек.

— Отошла, по не дошла, — качала головою Стенька. — Шустрая ты. Ну, коли волосы выросли, пойдешь со мной. У нас людей позарез не хватает. И не удирать. Решили и постановили!

Антонида и Стенька поддерживали Алену Савельеву под руки: у нее ноги подрубались. С утра дождило, потом тучи уползли, вывернулось солнце, розовый пар за клубился над травами, всякие жуки, бабочки и прочее насекомое братство отряхнулось, расправило крылья. Птицы в непроглядной листве тополей принялись трезвонить. Зеленый мир ожил в радости существования на этой доброй и жестокой земле. А среди зияющих страшными проломами, среди обихоженных, среди свеженакопанных холмиков Файка Респейникова и Пюрка Шилкова охлapyвали лопатками детскую могилку.

— Не бейте его, — попросила Алена. — Пожалуйста, не падо.

В изголовье могилы девочки поставили столбик с фанерной ищербатой звездочкой на макушке — сами выпилили, на фанерной дощечке написали химическим карандашом: «Савельев Вадим Григорьевич, 1934—1942».

Надо было уходить, но Алена не поддавалась, без сопротивления, без криков не поддавалась, будто ноги вдавились в затоптанную траву.

— Григорию-то что я теперь напишу? — вдруг подняла она свищом налитые глаза, и Стенька подумалась: оживает, раз от могилы памятью отпрянула.

Вчера, когда Вадик стыл в анатомичке, Стенька, пораскинув мыслями, передала Алене письмо от мужа. Алена еще никак не соображала, что сына у нее нет, сидела на клесичатом диване в приемном покое, раз-

вернув перед собою бумажный треугольник, кончиками пальцев водила по мятому краю письма.

— Не понимаю, чего он пишет, — со вздохом сказала она. — Прочитай, Стенька.

О себе Савельев писал скупо: вышел из окружения, лечился в госпитале, теперь снова воюет. Но столько заботы, столько думы было в письме об Алене, о Вадике, что у Стеньки засвербило в носу. И, конечно, подумала она: может, Борис ее тоже в окружении, и выйдет он, сильный, здоровый, он выйдет... И так, только на подмизинца, злобредная ревнивая мыслишка приключулась — вот Файка Петра своего на картошку пригласила, не занимается ли Борис тоже с какой-нибудь партизанской хозяйством. Нет, вот эта думка, что выживет, выйдет к ней, что вслед за строчками савельевского письма пришла, чувствовалось, — вернется...

— Как же я Григорию-то напишу? — повторила Алена.

— погоди, погоди, не торопись с этим, после вместе что-нибудь придумаем-надумаем, — словно маленькую, уговаривала ее Стенька, а сама потихонечку, за плечи, отводила Алenu подальше, к железным, в крестах и пиках, воротам. У ворот в два ряда трясли лохмотьями, выказывали всякие уродства нищие калски. Стеньке всегда глядеть на них было мучительно, слишком она была здоровой, точно виноватой в чем-то перед ними себя подлагала.

— Бог подает, — отрывалась Файка Репейникова, когда ее венки ловили за рукав или за подол.

Через два часа надо было на смену.

С вечера ничего работалось, а вот почью, особенно часа в три, сон дожил немилосердно. В цехе полумрак, только над станками лампочки желтеют, звуки выстраиваются монотонно, какие-то волны начинают тебя обволакивать, покачивать. Тут надо быть начеку: сунешься мордой или рукой в станок и отдыхай на веки вечные. Песни тогда начинала Стенька, выбирала, которые побойчее, даже притопывала, по-разбойному присвистывала. Память ее, оказывается, накопила непонятно как столько всяких песен, что и сама Стенька порою дивовалась.

А сегодня как заносшь? Сначала подумывали Алenu в эту ночь оставить дома, с начальством договорились. Начальство к Стеньке прислушивалось: без крайней

необходимости Разила не обратится, вчетвером, если надо, жилы порвут, а за шестерых сделают. Но Антолида Капсалькина, редко слово подававшая, сказала:

— Нельзя Савельевой одной...

На воле небо еще мерцало, хотя дни укорачивались уже на воробьиный скок. А в цехе по-ночному включались лампочки, подбирались и настраивались звуки. Стенька то и дело посматривала на Алenu. Ничего. Голова у Алены туго косыночкой повязана, чтобы волос, не дай бог, не замотало, движения уверенные, хваткие. Стенька часто себя на место другого человека ставила, подумала теперь, какой бы она работницей стала, если бы ребеночка ей Борис оставил и вот бы землей ящичек длиненький забросали, лопатами ухлопали...

Сама Стенька тоже ни одного лишнего движения не допускала, станок будто был продолжением ее рук. По внутреннему голосу его, по тошному позваниванию стружки, вороньим пером сипящей в воздухе, понимала Стенька: у него-то все ладно.

Вот бы такому Людмилку научить. Не везет пока с Людмилкой. В отделе кадров заерепенелись: дескать, завод померной, цех секретный, куда-то бы эту сомнительную беженку в сапожную или телогрейки строчить.

— Верно, ой как верно вы говорите, — пристукнула Стенька по столешнице ладонью. — Шпионка она и диверсантка страшная. Нельзя ведь ее и на телогрейки. А то сообщит куда надо, что мы и этой зимой воевать собираемся. И по телогрейкам сосчитает, сколько будет войска.

Людмилка скучно сидела в коридоре на скамейке. Стенька злая вышла, дверью ударила, сказала упрямо:

— Пока не берут. Пойдем в завком комсомола...

В этот день было уже поздно, отложили. И вот — беда у Алены...

С улицы пришли в пролет заготовщицы, цокряхивая, отряхивая мокрые платки и одежду: «Дождик зарядил холодный, моросливый, всю землю насквозь проковыряет». Алена услышала их слова, вздрогнула. Стенька поняла — что увидела Савельева, самой знобко сделалось. И вдруг Алена громко попросила:

— Спойте что-нибудь, подружечки, спойте!

Стенька, не выбирая, запела «Глухой неведомой тайгой». И только допевая к концу, спохватилась: горящую головню в душу Алены сунула:

Жена найдет себе другого,
А мать сыночка никогда.

Алена побелела — даже в таком освещении заметно, замотала головой. Стенька в два шага очутилась рядом, одной рукой отвела резец, другой ткнула пальцем в красную кнопку, погасила станок.

— Холодно, ох, как холодно, — сказала Алена.

Нюрка Шилкова подсовывала к ее резиновым губам носик чайника, стоявшего всегда за инструментальными шкафчиками. Алена шумно глотнула, будто протолкнула горлом кусок железа, тылом ладони провела по глазам, хотя они сухо глядели, казались не серыми, а черными.

— Да ничего, девочки, давайте на места, — сказала она и двинула русковую кнопку.

Отделили и осыпались травы, река, омывающая край завода, истратила глубокую свою синеву, выплела, будто поредела, как заношенная золотина. В стаи сбивались кочевые птицы — им лететь над раскертными в прах городами, над гарью сожженных сел и лязгом фронтов, над Сталинградом, в котором встали насмерть солдаты великой державы... Для девочек лето мелькнуло зарницей над дальним лесом, взмахом птичьего крыла. Еще тяжелее стали налитые усталостью руки, спины оседлала усталость.

С едой, правда, малость полегчало. Все же картошка, морковка, свекла в кастрюльках и на сковородках вкусно запахли, кашу можно было сотворить, хоть и на воде, но ядреную, редьки тертой похлепать.

И у Разных наладилось. Людмилку в токарный приняли. Стенька добилась.

Сама записывала в анкету главные ответы Людмилки.

— Под? — спросила она, обмакнув возлобочное от засохших чернил перо в пероливашку.

— Девка, — сказала Людмила, поджав губы.

Стенька чуть не всохотнула, но тут же неловко ей стало перед Людмилкой. А потом снова, уже по-другому, поняла, что же перенесла эта девочонка, если ни отца ни матери не помнит. Сперва так и подмывало спросить: «В капустае, что ли, тебя нашли?» А лицо Людмилки в морщины собралось, обезьяньим стало —

так сдвинулась она вспомнить, какими они были, мать и отец. «Сирота», — написала Стенька, вздохнув.

И вдруг привиделось, прислышалось ей ярко, что рассказывала Людмила на пруду...

Ехали в эшелоне, эшелон разнесло бомбами. Их куда-то пересаживали, потом отправили пешком. Все плохо, качалось, смутно, как сквозозь болотную воду, виделось. Одно только и держало Людмилку на ногах: накормить, чем-то накормить маленькую сестренку.

Она просила милостыню, какие-то люди отворачивались, даже усмехнуться пробовали обтянутыми ртами. У нее от голодухи все в глазах мутилось, она плохо слышала, плохо соображала, только помпела: через улицу отсюда ждет ее сестричка, стеклянная от голода. Кругом дымились развалины, но деревянный домик чудом уцелел, Людмила положила сестренку в какой-то пустой комнате на тюфяк и наказала подождать.

Тут подошел к ней солдат с веснушчатым лицом, протянул полбуханки хлеба. Она, ничего не понимая, вплепалась в корку зубами, начала рвать пахучую мякоть. Откуда-то валил воющий душный дым. Она его не воспринимала. И вдруг в глазах ее посветлело: совсем близко от нее ревушим костром горел деревянный домик. Она кинулась к уламени. Солдат опередил, бросился к домику, тяжело тоная сапогами. И тут же она увидела, как приподнялась и сломалась крыша, из дыма, искр и рева преспокойно вышел солдат и, не обращая внимания на Людмилку, понес сестренку. И не вдоль улицы, а куда-то вверх, вместе с дымом, над горящей улицей, над вспененными крышами.

«Отдай, отдай!» — закричала Людмила.

Больше она ничего не помнила. И как прожгла зиму, как попала на Урал и почему очутилась в сарае и попросила хлеба для сестрички.

«Если б я не оставила ее. Если б не стала есть этот хлеб, а об ней бы подумала, — казнилась Людмила. — Ты осуждаешь меня? Скажи, осуждаешь?»

«Кто нас теперь имеет право судить», — печально сказала тогда Стенька, с трудом удерживая дрожь в губах...

— Тебя не имеют права не принять. На, распишись, — сунула она теперь ручку Людмилке. — Грамотная коесь. Говор-то у тебя грамотный...

Анкете поверили, Стеньке поверили. У Людмилки

карточки продуктовые появились, правда, ученические, да это временно. Перепугалась Людмила в цехе до полусмерти. Уж чего навидалась, чего натерпелась, а тут как встала на входе, так и обмерла. Девчонки ее подхватили, подгоняли дружескими тычками.

Только Файка Репейникова собрала в полосу узкие губы. После многих госпитальных шепотных обещаний впервые получила письмо, неожиданное настолько, что от слез промокла, а потом хохотать начала. Петро писал, обращаясь к ней по отчеству: мол, подруги у тебя, Фанна Кондратьевна, не подруги — зерно отборное, е такими, как у них в роте говорят, можно пойти в разведку. Тут она была согласная. А вот для чего про Людмилку расспрашивает: как живет, что подельвает, не зарезала ли кого? И в других письмах спрашивает, привет при случае просит передать. Как бы не так, разбежалась!..

— Баская девка, только тоща-а, шибко тоща, — прошипел Поликарп Васильевич, привечая Людмилку. — Технику безопасности прошла? Добро! А песни, случаем, не поешь? — Он всерьез насторожился, не обращая внимания на то, что Антонида и Стенька засмеялись, а Файка по-кошачьи фыркнула.

— Не пою, — согласно ответила Людмила.

— Ну, совсем молодец. Давай учишься. — Поликарп Васильевич ушел довольный, будто получил подарок.

Легко сказать — учишься. Людмила оказалась смекалкой, быстро поняла, угадала, что к чему в станке привязано, слова запомнила: «станцила», «коробка передала», «суппорт». Но кнопку утопить, к заготовке, которая невидимо для глаза кружится, резцом подкрасться — ни за что!

— Пошли, — возмутилась Стенька и за руку поволокла Людмилку по пролету; та еле успевала стоптанными башмаками своими перебирать. — Гляди!

На соседнем участке тоже стояли станки, довоенные ДИПы, и возле этих станков расторопно орудовали мальчюки, вовсе шпигалеты, в черных курточках с латунными пуговицами, в брючатах с бахромой по низу. С полу им несподручно было дотягиваться до рукояток, до кнопок, неспособно следить за клювиком резца, так они под ноги снарядные ящики подмостили.

— Ладно, — согласилась Людмила, сказав так же коротко, как Стенька, — поняла...

С работы они возвращались вместе. Ангелина Прокофьевна их у двери встречала, мокрых, голодных, уставших.

В один ненастный вечер сидели при обычной копилке: итятиной фитилек плавал в баночке с воском, едва светил красноватым бобышком огня. Ангелина Прокофьевна лежала на кровати — ломота душила ее птичьи косточки. Стенька и Людмила рассыпали по столу ячмень, перебирали граненые зерна, вылавливая их из мусора, мышинных колбашек. Соседи ездили к родне в деревню, привезли мешок ячменя, с Ангелиной Прокофьевной поделились.

— Вот вы все песни поете, — отделив ребром ладошки кучку зерна, заговорила Людмила. — А как же ж люди? Горя столько. У Алены сын в землице...

— И я слышала, будто вы песни на работе играете, — водала голос Ангелина Прокофьевна.

— Ну и как, маманька, шибко ругают?

— Как кто. Раньше-то мы на полях раздельно пели. — Она пошевелилась, чуть слышно охнула. — Или на покосах. Песню под визг косы подбирали. Голос у меня был — чистая медь колокольная. — Ангелина Прокофьевна подавила в горле слезу.

— Вы разве деревенская? — удивилась Людмила.

— А как же, как же! Меня Тимофеюшка в твоих годочках уговорил. Голодали мы тогда-а, ну, ко хребту приставал. А Тимофеюшка из города пряницы-баранцы привозил...

Стенька пошасалась: сейчас маманька опять начнет оплакивать своего непутевого поскакунчика, перебила:

— Ты как думаешь, не петь нам на работе? Под визг станков?

— Коли запелось, пойте... Лег у нас посередь деревни овраг. Сроду был в прах сухой, репейником да татарником заволакивался, козы в нем шкуру оставляли. Да-а, и привалило детечко: тучи — брюхом по елкам, и льют, и льют. Столько воды сверху пало, что земля напилась выше края. И тут, доченьки, — голос Ангелины Прокофьевны по-молодому посочнел, — из крыльев оврага ударили родники. Сильные, голосистые, чистые, всем на удивление открылись...

Лица маманькиного за кругом коптилочного брезга не видно, и представлялось оно таким, каким было, когда выходила с пятилетней Стешенькой на реку смот-

реть пароходы. Тимофей Разин в те поры гастролировал где-то, маманька на обрывистый берег приходила горевать, но, как нынче виделось Стеньке, ветер, от смолистых лесов поберезья, от реиных просторов налетая, омывал ее и укреплял...

Все же глупенькая еще Людмила, не поняла, к чему Ангелина Прокофьевна вспомнила о родниках. Стенька враз догадалась.

Мастер Поликарп Васильевич поманил Стеньку пальцем. Скоро конец смены, обождал бы, что ему приспичило? А на душе кипит, кипит недоброе предчувствие. Стенька подозвала Людмилку с соседнего станка, на котором девчонка приспособилась, наказала за своим следить, нехотя пошла к Поликарпу Васильевичу, обтирая ветошкой руки.

Мастер, вздыхая, покашливая ущербным горлом, отворил перед нею дверь своей стеклянной будки. Как всегда, по глухой задней стене висели графики, чертежи, плакат — женщина с выбившимся из-под платка седыми прядями, с белыми от гнева и боли глазами звала к Победе. За оцинкованным столом егорбившись сидел Алексей Ильич Шилков, отец Нюрки. У Стеньки екнуло сердце: уж больно скорбным было маленькое лицо Алексея Ильича, глаза по полу дыряжили, точно незатоптанное местечко выискивали. Нюрка работает себе... Может, с матерью ее что-нибудь, и Шилков сейчас попросит, чтобы Стенька подготовила Нюрку к беде...

— Ты, Степанида Тимофеевна, давай-ко садись, начал Алексей Ильич, головы не поднимая.

От суконной рыжей, в коростах подпалани, спецовки его, от войлочной шляпы крепко пахло табаком, жженым железом. Шляпу Алексей Ильич снял, обнажив слабенькие склывшиеся волосы.

— Как живется-робится? — продолжал он неуверенно. — Как Прокофьевна?

— Выкладывай, Алексей Ильич, разом, нечего так: сперва подуешь, потом вдуешь!

Алексей Ильич согласно кивнул, махнул рукой, однако опять уклонился:

— Как это солдат-то говорил этот, ну, что с Файкой на огород-то к нам заявился?.. Петро, что ли? Петро...

Сколько земли, говорит, я выкопал, а может, и меня в сырую землю...

Не помнила Стенька таких слов, должно быть, Алексей Ильич что-нибудь перепутал. Она встала:

— Вот что, товарищ Шилков, повспоминаем после, а ныне у меня дело стоит.

— Ну, слушай, Степушка, — вскочил Алексей Ильич. — Прокатчики пришли ко мне, по соседству и знакомству, товарища Иванова...

— Это еще какого Иванова? — вскинула брови Стенька. Она как-то потеряла в памяти фамилию Бориса и с недоверием слушала дальше, соображая, причем тут Шилков, при чем она сама.

— Иванова Бориса. Похоронка на него. В цех из завкома принесли.

«Почему в цех, почему не домой?» — заколотилось в висках.

— Пал Иванов смертью храбрых.

Алексей Ильич добыл из кармана газетную бумагу, положил на уголок стола, вынул кусочек газеты, лист, свернул «козью ножку», загнулся, жасывая щеки.

— Была ты у него одна, — еще сказал он сквозь дым. — Писал Борис своим друзьям об этом. Ты девка сильная, держись.

— Спасибо, Алексей Ильич, на таком слове, спасибо, — ответил кто-то со голосом.

Заревел гудок над заводом, запыла в протете сирена, оповещая о конце смены. Стенька шла, будто под водой.

Людмилку она отправила вперед, осылаясь на всякие дела, сама повременила немножко, у фонаря перед воротами проходной, прикрытого сверху колпаком, перечитала похоронку, поглубже упрятала в карман.

Затемненные улицы охлестывал дождь, слуганный со снегом, под ногами хлопало и жулькала, от холодной воды саднили в сапогах пальцы. А перед Стенькой бронзовыми волнами унывало к лесу ржаное поле, синими звездочками мерцали по бровке васильки. От слуганных волос Бориса пахло почему-то пшеничным хлебом. Он целовал ее руки, и от жестких губ его оставался на запястьях мятный холодок.

Она почувствовала уголками своих губ, что струйки дождя стали солеными, остановилась, достала из внутреннего кармана старого драпового пальто чистую тря-

почку, вытерла лицо. Через минуту оно снова сделалось мокрым.

Она спала на полу: кровать свою с первых же дней уступила больной Людмилке. И с тех пор Людмилка ни единова не занкнулась, что, мол, не пора ли поменяться местами. Да и лучше было летом на полу — просторнее, прохладнее. Теперь Стенька зябла, ее потряхивало, сукоинное одеяло не грело. Она ничего не сказала за весь вечер ни мамашке, ни Людмилке, они, кажется, не заметили ее горевания...

Видимо, утром, пока Стенька выясняла с печальством обычные дела, Нюрка Шилкова все подружкам успела рассказать. Они поглядывали на Стеньку с состраданием, однако не решались обступить. Стенька осмотрелась. Утро глухого предвзятого не заменило ночь, она гнздилась в переплете потолочной арматуры, за шкафами и столами присмищц, за жестяными козырьками красновато-горевших лампочек. Но это начало смены, заготовка уже закреплена, холодная, с пылью ржавчины, пора нажать кнопку. В путре станка раздался какой-то стон и тут же, как всегда, перешел в привычное ровное гудение, полное достоинства и силы.

И вдруг Стенька вздернула голову. Над гулом и всплеском звуков работы, над штабелями ползущих к контролю снарядов, над войлочной темнотой взлетел незнакомый голос, трепетный, чистый. Его все девчата слышали. Цела у своего станка Людмилка.

Антонида подключилась густо и верно, Нюрка добавила серебрянку, Файка, ревниво пощныряв глазами, все же не выдержала, жилки на тощей шее напряглись.

Если бы кто-то вчера вечером или ночью, когда Стенька то засыпала, сморенная усталостью, то вдруг открывала глаза в кромешную тьму и их драло от сухости, если бы кто-то сказал, что она сможет завтра запеть, тому бы не стоило завидовать. И вот ведь — откликнулось у нее внутри. Сперва из горла вырвался стон, потом уж грудь расправилась, полился сильный и крепкий звук...

Алексей Ильич заскочил в цех, напрямик к стеклянной будке: хотел узнать, как Стенька перемогает боду свою, и увидел Поликарпа Васильевича на пороге конторки.

— Цыд, — зашипел, замахал руками Поликарп Васильевич, — слушай, коли не глухой!

Алексей Ильич насторожил ухо. Издалека, сквозь громы и шумы, слабо, но все же различимо, долетала песня.



Алексей Решетов

* * *

Я летел в небесах,
я не чуял земли.
Руки странную легкость и мощь обрели.
Стал неистовым дух,
стал пронзительным взгляд.
Я летел и не чаял вернуться назад.
Даже сердце огнем полыхало иным.
Только бедный язык оставался земным.
Никакие пути, никакие века
Не отнимут у нас своего языка.

* * *

Что за оказия, что за беда,
Как непогода резвится.
Кто ты такая, откуда, куда?
Женщина ты или птица?
Как же нам путь в непогоду держать,
Натиски бурь отражая?
Я — ненадежный и старый вожак,
Ты же — совсем молодая...
Боже, зачем мы похожи на птиц?
Жили бы просто, как люди.
О, не печалься! Не знает границ
Сердце, которое любит.

* * *

До чего же печальна картина
«Возвращение блудного сына», —
Он гордыню свою превозмог,
Он теперь даже глаз не поднимет,
Он питался дождем и полынью,
Он вернулся на отчий порог.

Но какие-то дальние зовы
Появляются в небе суровом
И зовут день и ночь без конца.
Вот и к свадьбе уже все готово,
Вот и жить бы, как люди, толково,
А на мальчишке нету лица!

До чего же все это знакомо —
И удары весеннего грома,
И земли отмерзающий пласт...
И на камне сыром аксиома:
Вы в гостях еще, мы уже дома,
Не судите, помилуйте нас.



Л. Давыдычев

ПИСЬМО МАМЕ

Рассказ

Мама... не могу сказать тебе «здравствуй»: давно тебя нет здесь, на земле, где шумят леса, текут реки, и над которой плывут облака, нигде тебя нет здесь... А мне скоро будет столько лет, сколько было тебе, когда ты умерла. Невозможно представить, подумать даже нельзя, что когда-то, быть может, я стану старше тебя.

С каждым годом, а иногда и с каждым днем мне все необходимее и необходимее говорить и говорить с тобой, как мы ни разу с тобой не говорили. Сейчас бы я понял тебя. А тогда, не ведая твоих забот и тревог, горестей и печалей, виной которым я невольно оказывался, как я далек был от тебя, и как ты близка мне теперь...

Не знаю, почему, но рядом со мной все меньше и меньше, уже почти совсем нет людей, которым был бы смысл рассказывать о себе самое сокровенное...

А все наше случаются, прямо падают, валятся на меня дни, особенно тяжкие и горькие, какие-то несправедливые дни, требующие от меня много сил и немалого терпения, и настоящего мужества, а все это, кажется, давным-давно на исходе. Вот тогда-то ты и необходима мне, я и ищу тебя в памяти, зову... но не откликаешься ты... А я зову и зову... Зачем? Для чего? Почему? Верно, потому, что для меня ты осталась живой.

Мне до сих пор перед тобой стыдно: ведь все можно было сделать не так, можно было спасти тебя от многих и многих болей, обид, огорчений, несчастий. Утешает, — только слабенькое это утешение, — что я все-таки меньше принес тебе горя, чем достается мне. И совсем уж обидно: неудач моих и ошибок ты насмотрелась до-

статочно, а вот чем бы я мог порадовать тебя, до этого-то ты и не дождала.

Да, да, для меня ты живая, иначе бы я не писал тебе письма в течение нескольких лет.

Редко я вспоминаю, как ты умирала страшно и долго, именно умирала, а не жила уже; не вспоминаю, как хоронили тебя... Тогда у меня было много друзей, среди них не так уж мало тех, которые сейчас там где-то, с тобой...

Помню тебя такой, какой ты была, когда я был мальчишкой, подростком, потом постарше... Думая о тебе, стараюсь не вспоминать себя взрослым, вернее, почти взрослым, ибо пока ты жила, я не выросел, не мужал.

Отрчал я тебя и заставлял страдать, конечно, только потому, что мне и в голову не приходило, что я могу причинить тебе боль. Это я понял лишь без тебя, когда мне самому стали делать очень больно. Только сейчас я уразумею: самое большое горе приносят тогда, когда и не помышляют о нем, и как раз те, которые, может, меня даже и любят, хотя бы немного.

Не собираюсь жаловаться, не хочу расстраивать тебя и тем более оправдываться — это бессмысленно. Просто я отчетливо сознаю, что ты и я теперь соединились душами, как этого не случилось при твоей жизни. И письмо мое одновременно и тебе, и мне. Сейчас я — почти ты. Мне необходимо что-то высказать себе с твоей помощью.

Это письмо, повторяю, я пишу несколько лет, да и вся моя жизнь без тебя — письмо тебе, мама. И если раньше я писал его торопливо, урывками, когда не к кому больше было обратиться, то с годами оно становится все неторопливее, все подробнее, все сосредоточеннее. Конечно, оно сумбурно: от волнения и слова разбегаются, и мысли друг другу мешают. Ведь я верю, что ты это письмо прочтешь, точнее, мне верится...

За годы, которые я прожил без тебя, наиболее, пожалуй, поразило меня одно обстоятельство. Думая о твоей жизни, я не мог не прийти к пусть немудреной, но суровой, если принять ее безоговорочно, мысли. На нескольких судьбах хорошо мне известных, ныне покойных людей обнаружилось, что истинная ценность человека как человека с наибольшей убедительностью часто выявляется — придется высказаться прямо — после его смерти. Вот был человек, действовал мелко или

крупно, очень влиял на работу и даже здоровье окружающих, тем более — подчиненных, казнил, как говорится, или миловал, а помрет, и аж худым словом никто не помянет. Будто никогда и не было этакого! В его кабинете его не вспоминают...

И — наоборот. Жил скромный человек, без шума делал простую работу, вроде бы никакого особого значения не имел, а вот умер и — ожил в памяти людей, где жизнь его представилась во всем своем человеческом и неповторимом обаянии. Внешняя скромность обернулась внутренней значительностью, простая работа оказалась благородной деятельностью, и люди вспоминают и вспоминают этого человека, и он будто бы и не умирал, а лишь отлучился куда-то...

Вот и ты для меня, мама, все еще живешь и будешь жить, пока жив я. Уйдя, ты даришь мне больше, чем тогда, когда я каждый день мог видеть и слышать тебя.

Беда и грех сыновей: не ценить мам, как воздух. Что-бы понять тебя — понял я слишком поздно, — надо было самому пережить хотя бы часть боли, какую я тебе доставил... Но, может, потом и про меня вот так же кто-нибудь подумает...

Истинное страдание скрывается от других, особенно от близких. О ранах не кричат, о царапинах извещают всех. Поэтому мамы утешают сыновей, а не сыновья мам.

И знаешь, по многу раз, дотошно и не жалея себя, перебирая и перебирая в памяти наиболее неприятные для меня воспоминания, обнаружил я причину моего тогдашнего поведения. Оказалось, что я всегда в глубине души нисколько не сомневался, что ты не только простишь, но и поймешь. Так ведь и было... Я любил тебя, не ведая, что любить — это обязательно понимать... Вот теперь сам учусь терпеть, прощать и понимать. Трудная это наука, в полной мере доступная, верно, только матерям.

Обидно и горько сознавать, что живой ты не услышала: всем хорошим во мне я обязан тебе, мама...

Мама — это ведь не только давший тебе жизнь человек, но и человек, отдавший тебе жизнь...

...Не могу сказать, мама, «прощай», но «до свидания» сказать когда-нибудь придется. Пока я жив, ты со мной.

Апрель 1980 — ноябрь 1984



Валентина Телегина

НЕ СТАНЕТ ИХ...

Спохватишься — но кто же виноват,
Что каждый шаг наш

временем стреножен,

Что отодвинуть, отогнать назад
Годок-другой

мы все-таки не можем?

Что с каждым днем

старей отец и мать,

И кто предскажет, сколько им осталось?

Да если бы все заново начать,

Уж как бы мы лелеяли их старость!

Слабеет стук родительских сердец:

В какой-то миг приходит к нам

прозренье,

Что мать слаба, что немощен отец...

Не выпросить у времени прощенья!

Ни виноватость наша через край,

Ни наша вновь родившаяся нежность

Не отодвинут эту неизбежность,

Не исключат последнее «прощай».

И горько нам до слез! И что с того,

Что сами мы давно уже не дети!

Не станет их...

Но им-то каково

Нас оставлять одних на белом свете?

Как им, наверно, боязно за нас!

Тревожатся, тоскуют и жалеют...

Но это все узнаем мы в свой час,

Когда и наши дети повзрослеют.

— Не знаю, как в дельте, — возразил я, — вот на Урале мы рыбачили так рыбачили!..

И пошел у нас разговор, совсем не литературный как будто, но вскоре я отметил, что, о чем бы мы с Артемом ни говорили, все равно все сводилось к нашему писательскому делу. Сначала не обратил я на эту его особенность внимания, но потом каждая встреча с Артемом оказывалась как бы своеобразным уроком писательского ремесла. Именно ремесла, потому что он никогда не говорил: «Что ты сейчас пишешь?», а всегда: «А сейчас ты что работаешь?»

Узнал, что я переведен в редакцию мелекесской газеты, Артем очень почему-то обрадовался.

— Замечательный городок. Лесами непроходимыми оброс, как старобрядский скит. Я туда к тебе обязательно приеду. Давно собираюсь книгу сделать на крутом материале. Так что ты жди.

Потом он мне подробнее рассказал о том «крутом материале», который его беспокоил. В восемнадцатом году заштатный, удаленный от всех центров Мелекесс оказался центром кулацкого восстания. В конце мая белогвардейцы и всякие контрреволюционеры при поддержке кулаков подняли мятеж, который потом получил название — «чапанное восстание». Чапан — так назывался в Поволжье кафтан из домоганной овечьей шерсти. Он не боится ни сырости, ни дождя.

Боец «Коммунистической дружины» Николай Качуров (настоящее имя Артема) подавлял кулацкую и белогвардейскую свору, и в бою 7 июня был тяжело ранен. Об этом он написал очерк, напечатанный в газете «Коммуна» 24 марта 1919 года.

Действительно, материал был крутой, и Артем собирался работать книгу о героической борьбе чекистов. Но все это я узнал позже, когда он приехал к нам в Мелекесс.

А сейчас, когда мы только что познакомились и несколько минут поговорили о разных интересных вещах, мне стало казаться, будто мы вместе и выросли, так мне было с Артемом просто и легко. Очень скоро я перестал ощущать, что он — прославленный писатель, участник гражданской войны, а я ничего особенного еще не совершил, если не считать нескольких небольших книжек. Он умел так составлять себя, если человек ему нравился. Это тоже я узнал позже.

Нас ждало одно неотложное дело, для которого Артем и пришел к нам. Дом отдыха водников «Барабашина поляна» пригласил Артема — бывшего моряка и сына самарского грузчика — на литературную встречу с отдыхающими речниками. Он не особенно любил такие выступления в одиночку и поэтому решил взять с собой местных писателей.

Арсений Рутко, Аркадий Троепольский, Василий Алферов, Александр Савватеев, несколько начинающих писателей и поэт — такой компанией мы и поехали на «Барабашину поляну».

Сначала читали мы, местные писатели, потом выступил Артем. Мне довелось потом еще несколько раз слушать его выступления, вернее, чтения, потому что, насколько я помню, он очень коротко докладывал, что он будет читать, из какой книги и, не закончив объяснений, взмахивал рукой, словно отгоняя от себя все, что он проговорил и что не имеет никакого отношения к тому, что он сейчас прочтет.

Читал он удивительно — целые большие главы наизусть. Так можно читать только стихи. Когда я сказал ему об этом, он ответил:

— А какая разница: стихи или проза? И тут и там свой ритм и свой размер. Даже — и это, учти, обязательно — своя рифма.

Рифма, размер — в прозаическом тексте? Не очень-то поверил я в это утверждение, но чем больше слушал, как читает Артем, тем скорее исчезало недоверие. Потом, когда я попытался выбросить слово из его текста или заменить другим словом, сразу же чувствовал, что фраза теряет свои звенящие свойства, становится вялой и, в конце концов, даже бессмысленной.

Когда я сказал ему о своем «открытии», он не удивился, а только укоризненно спросил:

— Как же ты писал до этого?

— Должно быть, плохо.

— А хорошо у нас пишут немногие. — И, наверное, чтобы вбодрить меня, добавил: — У тебя здорово про безногого сказаво в романе, как он поднял на руках и вытолкнул из темноты свое тело. Я, знаешь, даже позавидовал, когда ты это прочитал.

Ах, как хорошо, как восторженно умел он завидовать каждой удаче — своей или чужой, каждому слову, поставленному на место, каждой фразе, если она была выпуклой и осязаемой, как скульптура или, вернее, как живое тело...

2

Не знаю, писал Артем письма или нет, — за все время нашей жизни в те годы я получал от него только открытки и только самого делового свойства. Так было и на этот раз: открыткой он известил меня о своем приезде в Мелекесс и просил приготовить номер в гостинице.

В то время я работал секретарем редакции, Троепольский и Виктор Багров — отличный поэт — литсотрудниками. Известие о приезде Артема всех нас очень взволновало. И не только нас.

В нашем тихом городке еще были люди, знавшие когда-то Артема — секретаря райкома партии и одновременно редактора местной газеты, в которой мы сейчас продолжали его дело.

Многие тогда были его помощниками, но кое-кто на себе испытал непримиримый его характер. Полтора десятилетия прошло с той поры, многое загушевалось, ушло в тень, но ничего не забылось.

Как только стало известно о приезде знаменитого писателя, меня немедленно вызвали в райком партии, чтобы подумать, как лучше его встретить и вообще помочь в его деле.

Немного зная Артема, я сказал, что встретим мы его сами, потому что он не любит никакой торжественности, и что он известил только одного меня и, когда придет, то сам скажет все, что ему надо. И чего ему не надо — тоже скажет, не постесняется, характер у него после восемнадцатого года не изменился.

Наверное, я очень красиво все это доложил, потому что агитпроп, который со мной беседовал, задумчиво проговорил:

— Ну, что же... — и вздохнул: — Писатель. — И еще раз вздохнул: — Ну, иди встречай, а что надо, ставь в известность.

На конном дворе запрягли пару коней в ковровые «председательские» сани, до вокзала было побольше километра. Пришел поезд. Вот и Артем: в черном крытом полушубке и в большом белом очень мохнатом заячьем треухе.

Еще не зная, как он отнесется к нашему парадному выезду, я противным голосом проговорил:

— Вот саночки...

— Начальство прислало?

— Ага, — сказал я, замерев.

И услышал басовитый Артемов смехок:

— Помнят, черти!

Мы хотели дать отдохнуть приезжему, но он не отпустил нас:

— Чай будем пить. Читать будем.

В номере гостиницы стало жарко. Артем снял пиджак и расстегнул ворот синей рубахи-косоворотки. Никогда за все три года нашего довольно близкого знакомства не выдвигал я на нем ничего кроме синих или черных рубах-косовороток, подпоясанных тонким ремешком, и пиджака потертого, обношенного. И всегда в сапогах. Или, как сейчас, в ваденках.

Расхаживая по тесному номеру, он говорил:

— Пишете вы мало и торопливо. Газета руку портит. На газетной колонке не размахнешься и душу не раскроешь. А душа у настоящего русского человека такова, что ей не то что в газетной строке, в целом романе тесно. А для этого работать надо много и неторопливо.

Многие годы прошли после этого разговора, и я не могу поручиться, что именно этими словами передавал Артем свои мысли о сущности тяжелой писательской работы. Но за смысл ручаюсь.

— Работать надо много и всегда, — наставлял нас Артем. — И не только за столом, а везде. Ведь для писателя все работа: чтение, беседы с разными людьми, поездки и беспрестанная, обязательно напряженная работа мысли и души.

— Дума! — воскликнул Багров. — А нам говорят: никому ваша лирика сейчас не нужна. Под подушку ее спрячь и никому не показывай.

— Кто говорит?

— Да вот, критики говорят. Редакторы.

— А у вас один критик и редактор. — Артем положил свою большую темную ладонь на грудь. — Вот он тут стучит. Его и слушайте. У каждого своя дорога, а всех этих, которые к вам в поводыри лезут, посылайте вы их ко всем чертям!..

По городу были расклеены афиши, извещающие о большом литературном вечере с участием «известного писателя Артема Веселого». В Мелекессе тогда был один клуб, где крутили кино, тут же местные любители ставили спектакли, иногда устраивались танцы, но никогда еще ни одно мероприятие не собирало столько зрителей, сколько наш литературный вечер. Это никого не удивляло — редко в тихий лесной городок приезжали хорошие артисты, а московские писатели — никогда.

Вечер вел Аркадий Троепольский. Большой, широкоплечий, скуластый, он громко, как в трубу, объявил:

— Артем Веселый, знаменитый писатель, автор...

Аплодисменты не дали ему назвать ни одного произведения знаменитого гостя, и даже когда Артем вышел к трибуне, ему долго не удавалось начать. Наконец зал угомонился. В тишине ударил басовитый широкий Артемов голос:

— Гудяй, Волга...

И слова в зале оживление, кое-где вспыхнули смешки, кто-то даже взвизгнул от необычайного удовольствия. Может быть, поправилось не совсем обычное заглавие? Артем удивленно оглянулся. Все вроде в полном порядке. Тогда он, как всегда, наизусть, не заглядывая ни в какие записи, начал читать:

— «Летела Волга праздничная да гладкая...»

Тут уж пошло и вовсе непонятное — засмеялись все, захохотали, затрещали ладошками.

— Летела Волга, надо же!.. — восторженно выкрикнул пронзительный женский голос.

Смеялись все, дружно, с удовольствием, не меньше минуты.

Взгляд Артёма сделался ненавидящим. Он ничего не понимал. Мы — тоже. А он молча все смотрел прямо в зал. Такого тяжёлого и долгого взгляда я ещё у него никогда не видел. Он смотрел прямо перед собой до тех пор, пока не наступила какая-то недоуменная тишина, оцепенение какое-то.

И тогда он начал читать. Голос его глуховатый, монотонный наплывал на зал, как длинная морская волна на отлогий берег. Наплывет и откатится и снова наплывет. Шум этот все время один и тот же можно слушать часами, потому что идет он из широчайшей дали и поднимается из неведомой глубины. Только так и надо было читать все то яркое, сочное, глубинное, что сработано Артёмом. Всякие актерские ухищрения тут были бы неуместны, они только разрушали бы огромное впечатление артемовского письма, которое он один мог передать во всю свою полную неуемную силу.

Кончив читать, он вернулся на место и, заглушая гул аппаратов, спросил у нас:

— Чего это они, черти, смеялись?

Никто из нас этого не мог сказать; и только потом, в перерыве, когда я спросил об этом у своих знакомых, они мне все объяснили:

— Прочитали на афише «Веселый», подумали — клоун.

— Настроение у нас создалось смеяться.

— Потому-то мы все поняли. Ты ему скажи, чтобы не обижался на нашу дурачность.

Когда я сказал это Артёму, он подумал и сам улыбнулся:

— Веселый у нас народ, а это здорово вообще-то...

3

Следующая наша встреча произошла в Москве летом 1935 года. Я приехал поступать в Литературный институт, но оказалось, что оторопился: приехал дня на два раньше, и общежитие еще не приготовлено. Я позвонил Артёму.

— Ты что, — услышал я знакомый басовитый голос, — адрес забыл?

— Я стесняюсь.

— Ну и дурак. Приходи сейчас же. Тут недалеко. Как выйдешь, сразу налево и по Тверской...

Середина апреля, ночь, сияют окна Дома «Известий», разноцветные рекламные огни отражаются на мокром асфальте, и я, слегка ошалев от всего этого таинственного и великолепного, стою на пустынной площади. На бульваре, там, где скоро должна вырасти трава, еще лежит синий весенний снег.

Через дорогу перешел я сквер, постоял у Пушкина, представляя себе белые приволжские снега и тихие, задумчивые города — Ульяновск, Мелекесс, далекие от Москвы, но вспомнил, что меня ждут, поспешил к Артёму.

Он встретил меня в маленькой прихожей и вместо приветствия обругал за то, что сразу не приехал к нему. Но как-то так равнодушно обругал, или, как мне показалось, рассеянно, словно был чем-то озабочен.

— Тут у меня, понимаешь, киношники. Сценарий писать меня обучают. Каждый день садят. Дернула меня нелегкая. Одной ведки выжрали бочку. Мне не жалко, да работать не дают. Все учат.

В большой тускло освещенной комнате было мало мебели, и оттого она казалась пустой. Одна стена от пола до потолка занята стеллажами из простых, некрашенных досок. Стеллажи забиты книгами. Тут же высокая, тоже некрашенная лестница, прислоненная к стеллажам, как к стене, а чтобы не скользила по паркету, концы лестницы вставлены в детские резиновые галошки. В углу стол под серой скатертью. В другом углу у окна большая зеленая тахта. На подоконнике телефон.

Дверь в соседнюю комнату неплотно прикрыта. Там яркий свет и громкие, явно нетрезвые голоса.

— Вот они. Я вышел, так они друг друга учат, — прогудел Артём и спросил: — К ним пойдешь или спать будешь?

— Я в Москву не спать приехал.

Сначала Артём вздохнул и только после этого одобрил мое желание:

— Это правильно. Ну, пойдём.

Посреди комнаты на большом потертом ковре стоял детский столик — такие теперь называются журнальными. Столик тесно заставлен стаканами, тарелками, бутылками. Все, что не поместилось, стояло под столиком и еще где поблало. Посреди столика — суповая миска с остатками кислой капусты. Вокруг прямо на ковре сидело несколько человек или совершенно лысых, или преувеличенно волосатых. Все без пиджаков, некоторые в пестрых распахнутых жилетках, и почему-то у всех засучены рукава, словно тут собрались на пир разбойники, какими их изображают в небогатых театрах.

Заметно было, что все устало от разговоров, от выпивки, отяжелело и хотело спать. На меня они не обратили никакого внимания. Потные лица блестя при свете яркой лампочки без абажура.

Табачный дым слонисто ходил над пирующими.

Пристроив меня к столику, Артём проговорил: «Поищи, чего тут еще осталось...», а сам склонился над письменным столом и

быстро что-то записал на большом листе. После этого он вернулся к парующим «разбойникам».

Один из них — лысый, с уставыми глазами в синих кругах, томно потянулся и томно проговорил хриловатым воркующим тенорком:

— Пожалуй, мне пора...

И все остальные тоже сообразили, что пора и хозяину дать отдых. Скоро мы остались вдвоем. Артем открыл форточку, серый дым под потолком слегка завихрился и потек к окну. Разглядывая листок со своими торопливыми заметками, Артем говорил:

— Дельные ребята. Знают много, а умеют еще больше. Видела я, как они работают. Зверн. Слов только много лишних говорят. Я вот тут записывал их мысли — все на пол-листочке уместилось. Девять мыслей на шесть человек за весь вечер. А сценарий я все равно сделаю. Первая строчка уже есть. Сегодня пришла, вот я и радуюсь.

Это он сказал так, будто его не обрадовала находка первой строки, а встревожила — такой у него был озабоченный вид. Первая строка — первый камень постройки, ключ от заветной двери. Найти первую строку! Только писатель знает, что это такое!

— Слушай, — торопливо приказал Артем: — «Звезда звенела в вышине». — Проговорив эту первую строку, он прислушался к звону той таинственной звезды, которую он только что открыл и звон которой пока доступен только его необыкновенному восприятию.

— Понимаешь: одна-единственная звезда в бледном небе, и ее звенящий свет в бледной вечерней воде... А они плывут, струги ярмаковски. И не слышно весельного плеска. Только звезда светит.

Сценарий «Ярмак». Не знаю, был ли он сделан, но начало было, и начинался он звездой, звенящей в вышине.

В большие окна, не загороженные никакими шторами, совершенно свободно вливался розовый свет московского утра. Я почувствовал, что проснулся очень рано, умылся и пошел в кабинет, приоткрытый, проветренный, залитый зоревым светом.

У окна стоял Артем и разглядывал толстую книгу. Именно разглядывал, осторожно перевертывая пожелтевшие страницы с крупным старопечатным текстом. Узкие его глаза, прикрытые молотильскими дужками веками, светились торжествующе...

— Вот, — сказал он, не отрываясь от книги, — что из слова, то удар колокола. Слушай, как пишет неустовый протопоп Авва-

кун: «Доколе нам терпеть, протопоп?» — «До конца, протопопица, до конца...» И протопоп этот не только вытерпел все муки, все кровавое усердие царственных и царю преданных холоуев, он еще небывалое геройство совершил — написал об этом, чем и утвердил себя на веки веков.

Он положил ладонь на шершавую страницу, как бы пожимая могучую руку славного бунтаря, заклеймившего своих врагов.

— Все может погибнуть, но то, что сработано пером, это уж навсегда. — Положив книгу на стол, он подошел к стеллажу. — Вот это все Ермак, да Ермаковы походы, всякие временные приемы, походные местности — все это надо знать и видеть самому. А главное, без чего, заломни это, правды не расскажешь, — говор. Это в нашем деле главное — передать, как люди друг с другом разговаривают и о чем. У каждого времени свой говор и у каждого селения свой. Я по тем Ермаковым местам походил и поплакал от Перми до того самого «слакого берега», где погиб Ермак. Всего по русским и сибирским рекам двенадцать тысяч верст прошел. А все для того только, чтобы увидеть, как тут шла и плыла его ватага. А говору, конечно, того не услышишь теперь. Говор вот он, в этих книгах только и слышен.

Так негромко, басовито и чуть заметно по-вожжски окая, говорил Артем, а сам все поглаживал потертые темные корешки старых книг — помощником нелегкой его работы.

— Книг этих сотни три прочел, одних записей вот какие стога наворочены. — Взяв с полки одну из толстенных папок, он раскрыл ее. — Вот тут тебе, как мябло записано из читанного: «Ермак, услыша царское грозное слово, задумал бежать в Сибирь, с ним, распустив паруса, самые удалые побежали. Плыли вверх по Каме, да по Чусовой, да плутали по Сылве. Плывучи, запасы у жителей обирали, вогулич воевали и обогатели, а хлебом кормились от Максима Строганова, на Сылве зимовали».

Потом он сказал, что самое, пожалуй, трудное — сочетать со временный авторский язык со старым говором, да так, чтобы «между ними драки не было». Тут нужна во всем самая строгая мера, не всякому доступная. И еще надобен тончайший слух, чтобы не заглушить все это звонкое, стародавнее, да чтобы и сегодняшнее не взяло верх. Все в меру — это не многим удалось, исторические романы пишущим.

— У Толстого в «Петре» это здорово сделано. Так он сам графского рода, с малых лет на всех языках. А я — первый грамотей в нашем кочкуровском роду. Четыре класса церковно-приходской школы. Короче говоря, «Гуляй, Волга!» еще не сработана. Тесать ее еще надо и строгать. Ну, пошли чай пить.

В большой комнате за столом сидели полная, красная жена

Артема Людмила Иосифовна и дети: Лев и Волга. И еще были у него дочери от первой жены, и у дочерей такие же необыкновенные имена: Гайра, Фата, Заира. Эти имена придумал сам Артем.

На столе стоял слетка помятый, но хорошо вычищенный алюминевый чайник и много всякой еды: колбасы, ветчины, сыр, банки «судак в томате» и еще с какой-то рыбой.

Хозяйка торопливо допила чай и поднялась.

— Вы уж тут без меня чаевничайте, — проговорила она и ушла на работу.

4

Поселили нас, студентов Литинститута, в Сокольниках, на берегу тихой Яузы в студенческом городке, так что на следующую сессию в 1936 году я сразу туда и поехал. Метро еще только строилось, и нам, чтобы добраться до дома Герцена на трамвае, требовалось не меньше часа. Узнав об этом, Артем сказал, что это даже хорошо: в дороге всяких разговоров наслушаешься, все новости в народном изложении прослушаешь, да еще с соответствующими комментариями. Кроме того, всякие случаи происходят. Тоже для писателя надо...

Он занес в институт, чтобы позвать меня на именины к одному «могучему мужику».

Я спросил:

— А улобно это так, без приглашения?

— Так я же тебя приглашаю, а, кроме того, ты — писатель, а писателю все удобно, если интересно.

На мой вопрос, куда мы идем, кто именинник, Артем ответил:

— Василий Каменский...

Мы шли вдоль бульвара по направлению к Арбату, и Артем рассказывал о футуристах так, словно разговор у нас шел о солдатской и матросской вольнице или о Ермаковых гудебниках. Они бунтовали, не всегда зная для чего, но твердо веруя, что нельзя «жить законом, данным Адамом и Евой». И работать стихи нельзя по старым прописям. Говорил он, как всегда, скупо, сдержанно и вроде бы не очень заинтересованно. Не зная Артема, можно подумать, что говорит он только для того, чтобы скоротать дорогу. Но я-то немного знал его повадки и его редкий дар говорить немного, а сказать все самое главное о человеке. Про Хлебникова он, например, сказал так:

— Умел слово донага раздеть.

— С привычки трудно его читать, — осторожно заметил я, потому что читал Хлебникова очень мало, и ничем он меня не утлек.

— А он не для чтения, — проговорил Артем. — Он для удивления и для восхищения. Писателям, молодым особенно, Хлебников вот как нужен — очень уж гладко стали писать.

А Каменскому позавидовал:

— Моего бы Ермака до его Степапа дотянуть.

Уже темнело, когда мы добрались до Каменского. Он очень обрадовался Артему, потом внимательно оглядел меня и тоже обрадовался. Это меня удивило, но потом я узнал, что Каменский любил, когда к нему приходили гости.

В комнате было много шкафов с книгами и рукописями в обшарпанных папках. То, что не вмещали шкафы, громоздилось на шкафах и под ними, и за ними, и между ними. Каменский собирал все, что имело хоть какое-то отношение к литературе. Он, например, показал нам свое последнее приобретение — плакат, рекламирующий фильмоскопные чулки. На плакате молодая красотка примеряла чулок.

— Узнаешь красавицу? — спросил Каменский.

— Вот черти! — воскликнул Артем и сказал мне, что на плакате изображена жена одного очень известного поэта.

Каменский положил передо мной чистый лист бумаги.

— Все, кто приходят ко мне, оставляют автографы.

— А что писать?.. — смутился я.

— Напиши про Волгу, — подсказал Артем.

Теперь уж я не помню, что написал тогда, но где-то в архиве В. В. Каменского должен храниться и мой автограф.

Посреди комнаты меж шкафов, как полянка среди скал, образовалась площадка, на которой кое-как поместился квадратный стол и несколько стульев.

Василий Васильевич сразу же усадил нас за стол. Про других гостей он сказал:

— Кто вспомнит, тот придет.

Пришел Юрий Олеша и с ним еще кто-то, кого я не знал. Олеша только что вернулся из заграничной поездки — случай для тех годов редкостный. Он подарил имениннику купленную в Берлине рубашку с галстукком. Его стали расспрашивать о поездке, но он рассказывал как-то неохотно, словно воспоминания эти были неприятны.

Артем сказал:

— Рассказываешь ты, как полотер: наводишь глянец в потё лица. А писать как будешь про это?

— Наверное, никак я не буду писать... про это.

В этом же 1935 году, в середине июня, я получил открытку: Артем писал, что едет в Казань (или Горький, точно не помню) и оттуда на лодке доплывет до Каспия. В это время я работал в Ульяновске, в редакции газеты «Пролетарский путь». Здесь же работали Аркадий Троепольский и Арсений Рутко.

Открытка заводила всю нашу компанию, но так как никаких точных дат Артем не сообщал, то мы просто ждали, стараясь угадать, когда он может приехать. По нашим расчетам получалось, что не раньше конца июня. А он приехал девятнадцатого. Это я устанавливаю по тому, что 21 июня в нашей газете появилась заметка: «Артем Веселый в Ульяновске».

Дело было так: я работал секретарем редакции и мне полагался отдельный кабинет, в котором я и сидел, изнывая от жары. Но тут открылась дверь и вошел Артем и две девочки — Гайра и Фата — все очень загорелые и оживленные. Это меня удивило, потому что никогда еще таким я не видел Артема.

Кто-то заглянул в мой кабинет, и сейчас же вся редакция узнала, что приехал Артем Веселый, и, конечно, всем захотелось его увидеть. Из своего кабинета вышел редактор Иосиф Коган, прибежал наш фоторепортер Саша Маркелычев — он и сделал снимок, который был помещен в нашей газете.

Скоро Артем ушел смотреть город. Его сопровождали Троепольский и Николай Ручкин — наш фельетонист и знаток всех городских достопримечательностей. Мне, к сожалению, нельзя было уйти, пока не сдам номер газеты. Они вернулись часа через два и сказали, что Артем расположился станом против города на острове, который называется Телячий. Это было любимое место отдыха горожан, потому что здесь было все — и огромный песчаный пляж, и заросли каких-то кустарников, и большая роща.

Я сейчас же поручил Троепольскому написать о приезде Артема Веселого. Готовые фотографии уже лежали у меня на столе, одна из них была отправлена в цинкографию.

После работы мы отправились на Телячий остров. Нас ждали: горел костер, варилась уха в котле на треноге и рядом висел чайник, показавшийся мне знакомым. Да, это был тот самый московский алюминиевый чайник, но я его не сразу узнал — так он закоптился за дорогу, слегка помялся и потерял свою крышку, заменивную банкой из-под монпансье.

Девочки как хозяйки начали хлопотать, собирая обед. Коля Ручкин — веселый человек — присоединился к ним, и там сейчас же началось такое оживление, что Артем встревожился:

— Эй, там, на камбузе! Котел опрокинете...

На траве расстелили парус, на нем серую, кое-где прожженную скатерть. На скатерти появилась самая разнообразная посуда — эмалированные тарелки, глиняная миска, банки из-под консервов. Хлеб лежал на огромных лопухах. Зеленые перья лука — где попало.

Вначале Артем расспрашивал каждого из нас о работе: кто что написал и напечатал, потом он сам начал рассказывать о том, какие случаи были у них за время пути, девочки ему подсказывали. Коля Ручкин читал свои очень смешные стихи и эпиграммы на всех присутствующих. Потом играли в слова, девочки азартно включились в эту незамысловатую игру, требующую быстрой сообразительности.

Это было впервые, когда я видел Артема таким оживленным, простым и даже ласковым, особенно, когда поздно ночью он, прощаясь с нами, пожимал наши руки и похлопывал по плечам.

Теплая летняя ночь на Волге. Наша лодка медленно удаляется от притихшего острова. На песке у самой воды стоит босоножий Артем и по коленки в воде Гайра и Фата.

— Приезжайте, ребята, в Москву!.. — кричит Артем.

— Приезжайте к нам!.. — звонко зовут девочки. — Мы будем ждать!..

И все машут руками, и мы тоже что-то кричим в ответ и тоже машем руками, пока все не поглотит теплая темнота.

Так уж получилось, что с Артемом мы встретились только весной тридцать седьмого года. Каждый раз, когда я приезжал в Литинститут на очередную сессию, его не оказывалось дома, а я не очень разыскивал его, легкомысленно полагая, что еще успею, что впереди еще много дней и много встреч. И никак мне не думалось, что дней у нас остается совсем мало и что встреча вообще может и не произойти.

Я только что вышел из института, как увидел Артема. Он шел навстречу, Кончался май, бульвар стоял весь в свежей зелени, Тверская площадь звенела трамвайным звоном, верещала автомобильными сиренами, москвичи торопливо поспешали по своим делам, и уже около киосков и лотков с газировкой накапливались небольшие очереди.

А мне навстречу шел Артем в запыленных сапогах, тяжелом темном пиджаке и в большом зячьем треухе. Я удивился, но не успел еще ничего сказать, как Артем спросил:

— Куда?

— Пока еще никуда.

Там столько жизни,
музыки,
веселья,
что я еще надеюсь на строку!

Почти младенческую робость
навеял вдруг ночной прибой.
Всем существом я чую пропасть
и под собой,

и над собой.

Какие звезды заблестали!
В глубинах?

Высях?

Не понять.

Бескрайни, бесприютны дали —
и мыслью даже не обнять.
Я не был маленьким и сирым,
но из груди неизгоним
восторг безмерный перед миром
и тайный ужас перед ним.

ЗВУК

Ниоткуда,
в тишине и сини —
странный звук.

Так шелестят овсы.

Так звучит, шурша песком, пустыня —
вечности песочные часы.

Нарастанье звука —

вздохи, всплески.

Так потягивается река.

Перерос пространства выдох резкий
в посвист молодого ветерка.

Этот звук —

негромкое признание,

что природа

ни добра, ни зла.

Это — неба и земли касанье,
рост подспудный трав и взмах крыла.

Это — утро,
мирозданья милость,
мир, в который мы пришли, любя.
Это жизнь, что только народилась
и осмыслить пробует себя.



НАШИ ЮБИЛЕИ

В 1986 году писателю Владимиру Ивановичу Воробьеву исполнилось 70 лет. В тридцатые годы он работал и учился. В сороковые стал солдатом, воевал, был награжден, был ранен... В пятидесятые — снова работал. А душа росла и зрела. Зрело и росло писательское мастерство. Воробьев всегда писал для детей. «Они лучше», — считает писатель.

С годами память стала дальнорезкой — о своем детстве написал Владимир Иванович умные и тонкие рассказы, адресованные не только юным, но и взрослым читателям. Жанру короткого рассказа верен писатель и сегодня.

Владимир Воробьев

ПЛАНЕТА ОДИНОЧЕСТВА

Рассказ

Это случилось в начале тридцатых годов, в белом курортном городке, где весной по утрам от ближней лесистой горы веет свежестью и фиалками, а летними знойными днями чуть доносится полынное дыхание истомленной степи.

Осенью здесь в голубом безмятежном небе летят серебряные паутинки, падают с легким стуком конские каштаны. Коричневые, маслянистые, до удивления никому не нужные... Дни стоят светлые, ясные, как пигде, кажется.

Наверное, поэтому тут иногда снимают кино.

В одно такое утро вышел из дома Сергей Сергеевич Берсенева, в прошлом полковник генерального штаба русской армии. В свое время злословили, что своим маленьким ростом он один в царской свите не шокирует

невысокого царя. Все прошедшую ночь, как, впрочем, уже давно, Сергей Сергеевич не сомкнул глаз. Как всегда, пристально следил в темноте за багровым оготком напирсы и все думал о том, что ничего теперь не будет, и все то, прежнее, так далеко теперь. Как будто бы он на другой планете, Марсе, например... На таком вот багровом мерцающем кружочке в бесконечной мгле.

Иногда от встречается здесь тени знакомых землян — офицеров, помещиков, и даже мелькнуло недавно виденные милой рышноволосой фрейлны, которая жила когда-то там, на Земле.

Тебя здороваются с ним, заговаривают тихо, как с больным, и печальные глаза их полны тягостного страдания.

Истопленно желал Берсенева вернуться на Землю. Страшно быть одному во Вселенной, когда ни дозваться, ни очнуться.

Этим утром Сергей Сергеевич встал, озираясь. Какое-то веселое беспокойство шевельнулось в груди. Растерянно, недоуменно оглядел он свою дожелта прокуренную комнатенку, сиротскую кровать, пахнущую керосином, шаткий голый стол с примусом и мятым жестяным чайником.

В каком-то беспричинном веселье, не сдержавшись, Берсенева хототнул и поспешно вышел на улицу с маленьким мешочком, зажатым в руке, чтобы на серебряный карандашик выменять блюдце кукурузной муки.

Он шел теневой стороной. На белые, еще прохладные плиты тротуара упал каштан, тугой, маслянистый. Сергей Сергеевич подхватил его, украдкой лизнул. «Как просто!» — обрадовался он. Берсенева твердо знал теперь, что всю свою жизнь, сколько помнит себя, хотел сделать именно это. Лизнуть каштан.

Потом он подкинул каштан, чтобы поймать. Забыл. Торопливо пошатая прочь.

Он уже почти бежал, не удивляясь больше своему странному состоянию духа. На френче, зачищенном до светлой ветхости, голодным блеском сияют латунные пуговицы и пряжка ремня. Правая рука четко отмахивает, в ней зажат комком полотняный мешочек, левая слегка придерживает пожны клипка.

Возле собора Сергей Сергеевич сдернул с головы выгоревшую чуть не добеда фуражку с тусклым ко-

зырьком, замешкался, позабыв, что надо делать, но тут же озаренно вспомнил и горячо покрестился на сияющие веселым золотом купола.

Затем торопливо спустился по белым известковым ступеням мимо скверика с памятником поручику Лермонтову и очутился на бульваре.

Здесь, уже не в силах преодолеть чувство радостного возбуждения, он в такт все убыстряющимся шагам своим, вдруг запел во весь голос глупую песню:

Га-аспадин! Га-аспадин!
Га-аспадин палко-овник!
Я на вас! Я на-а ва-ас!
Я на вас оби-ижен!

Сергей Сергеевич, еще понимая, что делает это не нарочно, против воли, виновато улыбался. Но его уже выносило на самый гребень волны беспричинной радости...

В этом месте бульвара сейчас было очень много народа. Но все держались в стороне, за канатами, а по бульвару прямо на Берсенева шли скромно и дорого одетые дамы в кружевных накидках с белыми кружевными зонтиками в руках. С ними офицеры и чиновники в мундирах и фуражках с кокардами, сытые господа в соломенных канотье...

Позванивают шпоры, негромко журчит французская речь... Сергей Сергеевич сразу узнал высокого седого старика, самарского губернатора. Давным-давно, еще до сабельного звона в Пруссии, до тифозных барачков в Ростове, ДО МАРСА, он проиграл ему сколько-то в карты...

А подле бульвара, в прохладной тени домов, по синим булыжникам мостовой поцелуйно бьет подковами казачья сотня!

Есаул на белом аргамаке, в белой черкеске и белой мохнатой папахе...

Шашечка есаула в серебряных ножнах и газыри сначала светились мертво, а сейчас, под солнцем, вскинулись вдруг несказанной радостью!

Не слыша себя, оглушенный обвальным грохотом в голове, выбежал Берсенева вперед. Он сильно и горячо обнимал растерявшихся мужчин, целовал ручки некрасиво испугавшейся супруге губернатора. Смятенно и счастливо бормотал:

— Господи! Господи! Господи!

Его колотила дрожь, крупные светлые слезы катились из глаз, растекались в сизых провалах щек.

— Уберите ньяного! — визжала губернаторша.

В толпе кто-то рассмеялся, кто-то участливо вздохнул.

Мелко-мелко крестилась тень в черной накидке и черной старенькой шляпке на пышных седеющих волосах.

А рядом, на площадке, возле трепюги с аппаратом бесновался и что-то кричал в рупор молодой человек в клетчатых гольфах и огромной клетчатой кепке.

Терцы по команде молодого человека повернули коней и отошли на рысях.

Подбежали какие-то люди. Они повели Берсенева за руки к зеленой карете с красным крестом на дверцах.

— Что это значит, господа? — вырывался Берсенева. — И умолял: — Господа! Господа! Ну что же вы, право?! Я не хочу туда снова! Да пустите, наконец! Есаул! — властно крикнул он в чужое холодное пространство.

Сергей Сергеевич запрокинул вверх голову и увидел то, что мог увидеть только он один. В голубой неопостижимой дали чужих холодных пространств зловеще багровел маленький кружочек — планета одиночества, проклятая планета Марс.



Александр Гребенкин

* * *

Опять заливаает водой
Низины, луга, огороды.
И время высокой звездой
Летит сквозь пространство и годы.
Набух небосвод синевой,
Березы под солнцем смеются.
И яблоком над головой
Все катится мир золотой
В густой синеве, как на блюде.

* * *

Я выйду в тайге,
На глухом полустанке.
Поставлю палатку
В лесу на полянке.
Где травы по пояс
И сосны до звезд,
Где бьют днем и ночью
Фонтаны берез.
Где вьюга — так вьюга,
Мороз — так мороз!
Где ветры шальные
Доводят до слез.
Где звездные ночи,
Туманный рассвет.
Где все есть для счастья —
Тебя только нет.



Владимир Соколовский

ВОЛНА

Рассказ

Отец Витьки Жукова был командиром роты. Рота стояла на небольших островках в Тихом океане: установка там, установка здесь. Витька с отцом, матерью и двухлетней сестрой Веркой жил на острове, где располагалось основное ротное хозяйство, командовавшие роты и ее старшина — прапорщик Савчук. Кроме капитана Жукова, только у прапорщика были дети, но они почти не водились с Витькой, потому что считали себя большими да и почти весь год проводили на Большом Острове, учились в школе-интернате.

Когда произошли события, о которых мы собираемся рассказать, сыновья Савчука находились в пионерлагере на Черном море и должны были вернуться только к началу школьных занятий. Так что из детей на острове оставались только Витька и Верка. Витьке через две недели предстояло идти в школу, в первый класс.

Этой ночью капитана Жукова разбудил телефонный звонок. Он схватил трубку, прокашлялся.

— Жуков слушает!

Его вызывали на радиостанцию для приема экстренного сообщения. Жуков оделся и ушел. Вернулся он скоро. Тем временем раздался сигнал тревоги, и жена, уже окончательно проснувшаяся, спросила:

— Что там, Костя?

— Тревога, мать. Очень плохая тревога. Штормовое предупреждение. В океане толчки. Кажется, надо ждать Волну. Цунами.

— Ну, как-нибудь..

— Не как-нибудь! — резко сказал Жуков. — На этот раз всё тут, рядом, и она не пройдет мимо, если возникнет. Слизнет все, вместе с постройками. Так что вот... Собрешь ребят, барахлишко по мелочи.

— Мы уходим на катере?

— Нет. Мишман Сливько сейчас обойдет точки, спит людей с установок и обратно уже не вернется, двинется на Большой. Мы эвакуируемся вертолетом. Много ли нас! Три рейса, так что успеем вполне. Цунами! Вот беда какая, скажи. Вроде всегда эти места обходили...

Витька Жуков спал и не слышал этого разговора. Мать не разбудила ни его, ни Верку, чтобы они не мешались под погами, не создавали лишней суеты. Когда он проснулся утром, родителей не было дома, только Верка сошла в своей кроватке. Витька выглянул в окно. Несколько солдат, срудившись, жгли какие-то бумаги. Часть людей под командой замполита роты старшего лейтенанта Рахманова выносили имущество из служебного помещения; двое демонтировали антенну на крыше. Что-то было непонятное. Однако недалеко ровно и привычно гудели дизели станции, покачивались потные щиты антенн, и Витька успокоился. Отработают какую-нибудь задачу. Дело привычное!

Он пошел на кухню, носел со сковородки холодную яичницу, оделся и выскочил из дома. На него никто не обратил внимания. А Витька, росший с пеленок среди военных людей, твердо знал, как надо себя вести, когда окружающим не до твоей персоны. Он миновал жилые постройки, казарму, служебные помещения, поднялся на небольшое плато — самую верхушку острова. Там была вертолетная площадка с растущим на ее краю единственным деревом — голый внизу и пышной у вершины листопадной. Пройдя плато, Витька спустился по отлогому склону. Дальше, чтобы подойти к воде, надо было ступать по камням. Сегодня он не стал этого делать — слишком высока была волна, слишком круто была она в берег, слишком далеко катилась, захлестывая сушу.

В такую волну страшновато на берегу оканать...

Постояв на берегу и поглядев на оксан, покада не стало колотить сердце от его ярости и простора, Витька полез в свой грот. Грот был небольшой, выдолбленная штормами маленькая норка в каменистом основании острова. В нем не поместился бы взрослый, а семилетнему мальчишке он подходил в самый раз. Никто не знал и не догадывался об этом Витькином тайнике. Здесь у него были свои богатства: сушеная морская звезда, кон-

ники из красной пластмассы, вылепленные из пластилина локаторная станция с антенной наверху, дизельная, катер Сливько, вертолет Слезкина, пара истребителей, самолет-нарушитель, офицеры — напикны сослуживцы, и некоторые знакомые солдаты. Здесь Витька часами играл один в свои суровые и серьезные игры.

Сегодня ему было скучно, тоскливо. Грохотала вода, ветер метался, свистел, иногда задувая в маленькую норку. Витька думал о своих друзьях. Он давно уже не был на Большом Острове, где его ждали Герка Хомич и Марка Ланаса. Вздохнул, взял коробку с пластилином, согрел, размял его в ладонях и стал лепить самолет. Старый, большой, похожий на толстую рыбу. Ли-2, в котором они играли вместе — он, Герка и Ларка.

Он не успел закончить свое дело. Сколько шум верот пробился свистящий рокот мотора. Витька выглянул и увидел несущийся над самыми гребнями воды вертолет капитана Слезкина. Он узнал бы его среди десятка таких же! Вертолет, проревел мотором, исчез в направлении площадки, а мальчик радостно завопил и полез из своего убежища. Но когда он, скользя и оступаясь по камням, выкарабкался на плато, машина уже поднималась и разворачивалась на обратный курс. Унеслась туда, откуда только что прилетела.

Витька смертельно обиделся. Вот так дядя Юра, забыл про всю дружбу, не хотел даже подождать, когда он прибежит к вертолету!

По сути, у Витьки не было среди взрослых друга лучше и верней, чем Слезкин. Мало того, что его экипаж почти бесменно обслуживал роту, был одним из немногих звеньев, связывающих ее с Большим Островом. Он же три года назад привез семью командира на этот крохотный земляной выступ, омываемый со всех сторон океаном. Передав тогда управление второму экипажу, Слезкин взял четырехлетнего мальчишку в кабину, посадил к себе на колени и стал серьезно рассказывать о Дальнем Востоке — об островах, людях, равнине всех в стране встречающих день, о рыболовных сейнерах, о рывущих вдоль границы чужих самолетах... Слезкин за руку довел Витьку до нового жилья, молча посидел вместе с Жуковыми в квартире, еще сохранившей запах недавно покинувшей ее семьи, попрощался и ушел. Так началась их дружба.

Бездельный капитан и сам привязался к растущему

без сверстников мальчишке. При каждом удобном случае он упрашивал Витькиных родителей отпустить сына вместе с ним на Большой Остров. Там Витька жил в военном городке у Слезкиных. Жена дяди Юры, тетька Люба, полная хлопотливая украинка, в те дни, когда у них гостила Витька Жуков, не знала покоя: все время искала его по городку и прилегающим окрестностям, чтобы позвать есть. Она закармливала его до одышки, не давала вылезти из-за стола, пока он не съест еще то-то или то-то. Собственного мужа ей кормить приходилось редко: он питался в летной столовой. Да и дома Слезкин бывал не часто, все время летал на точки, а там — то застанет непогода, то начальство прикажет следовать в другое место, не заходя домой...

Но в городке Витька совсем не скучал по дяде Юре, не то что на острове. Здесь у него завелась дружба, и будь его воля, он не расставался бы с ними круглые сутки. Другой было двое: Герка Хомич и Ларка Лацаева, Витькины ровесники. Они бродили вместе по лесу, ломали пиканы, смотрели кино в клубе и на открытой площадке или, выпросив денег, сходили на автобусе в райцентр, за десять километров, и там устраивали себе шикарную жизнь: ели мороженое, пили газировку, покупали значки, задирали местных ребят. Однако такие вылазки случались у них редко, и большую часть времени они проводили в старом разбитом самолете Лр-2.

Самолет лежал на пустыре, отделяющем последние дома городка от тайги.

Шасси у него были демонтированы, и самолет распластался крыльями прямо по земле. В фюзеляже у него зияла большая дыра: некогда старшие ребята устроили в самолете курилку, и случился пожар. Его потушили, и мальчишкам, начиная с пятого класса, запретили даже приближаться к обгоревшему ветерану.

В нем и возле имела теперь право играть только малышня.

Все кожаные сиденья были давно сняты, вместо них ребята приспособили деревянные ящики. Исчезли приборы, на досках чернели только круглые отверстия. Однако главное — штурвальные колонки с педалями, пульт управления с погнутыми рычагами — оказалось в целости и сохранности, хоть рули и двигались независимо друг от друга. Витька, Герка и Ларка часами проси-

живали в самолете, разыгрывая полет, двигали штурвалы и рычаги. Основную роль обычно играл Герка как сын летчика.

Он прижимал к горлу воображаемые ларингофоны и отрывисто произносил:

— «Байкал», «Байкал», я пятьсот шестнадцатый, прошел дальний, удалите четыре, прошу посадку...

— Дзынь-дзынь-дзынь! — голосом изображала Ларка звонки приводной радиостанции.

Витька тоже накручивал рулями и вел воображаемый радиоразговор.

— Наблюдаю на экранах заветку! Дальность шестьдесят, азимут сорок, высота двенадцать! Цель скоростная, малоразмерная, применяет активные помехи!

У Ларки отец был техником, и она выкрикивала также команды:

— Составить акт на спасение! Регулировать коррекцию! Неси тавотницу, едритвою!

Каждый из них уже сейчас точно знает, кем он станет в будущем. Герка — летчиком, Витька — локаторщиком, Ларка... С Ларкой было не совсем ясно. На техника ее не взяли бы учиться, в военные училища девчонки не принимают. Но служили же девушки у них в и в соседнем подразделении полка — планшестистками, радиооператорами, телефонистками, так что выход все-таки есть. Теперь пока совершенно ясно только одно: замуж она выйдет лишь за военного. Или за Герку, или за Витьку. Ей все равно.

Но им-то это было совсем не все равно! По этой причине они бились иногда не на жизнь, а на смерть: царапались, пинались, драли друг другу волосы, даже кусались.

Такова была Витькина жизнь, когда дядя Юра Слезкин забирал мальчишку с островка в океане, чтобы он пожил у него. К сожалению, в последнее время такое случалось все реже, потому что Витькина мать стала ревновать сына к капитану и его жене Любе, бояться, что он, живя у чужих людей, может отвыкнуть от собственного дома и родителей. Но подошло время отдавать Витьку в школу, и на семейном совете решили: он будет жить у Слезкиных. Никуда нельзя было деваться от такого решения. Одна надежда оставалась у Витькиной матери: скоро ее мужа переведут служить

в другое место. Насились слухи, что такой перевод готовится, и Жукову прочат хорошую должность. Только при Витьке мать не говорила об этом, чтобы не огорчать мальчишку.

Витька сидел в своем гротике и страдал из-за коварства, вероломства дяди Юры, который прилетал и даже не захотел его увидеть. Радио-ладно, пусть в другой раз попробует заговорить с ним! Витька гордо пройдет мимо и даже не оглянется.

Несколько раз ему показалось, что кто-то зовет его. Но так сильно дул ветер, что и его шум можно было принять за крик. Потом он увидел, как по камням везу прошли двое солдат, оглядывая берег. Витька затаился в глубине грота: ему совсем не хотелось, чтобы его тайник обнаружили. После ухода солдат он выпятил и увидел несущуюся от горизонта темную точку. Это опять летел Слезкин. Сразу забыв обо всех обидах, Витька начал выкарабкиваться из грота.

Гребешки волн дожились уже совсем близко, а ветер так мощно подпер Витьку со спины, что он взобрался на плато, почти не помогая себе руками. Вертолет уже приземлился, в него забрались солдаты. «Куда это они?» — подумал мальчик. Вдруг от стоящей возле машины труппы людей оторвалась фигура и широким шагом двинулась ему навстречу. Витька узнал отца. Лицо у него было злое, кулаки сжаты. Однако они не встретились: Жуков не прошел и трети отделявшего его от сына расстояния, как распахнулась дверь одного из стоящих недалеко стационарных домиков и возникший в проеме солдат прокричал ему вслед:

— Товарищ капитан! Сбрось питания-а!..

Жуков попернулся и тем же широким шагом запрыгал к станции.

Зато Витьку встретила у вертолета мать. Первым делом она так стукнула его, что он чуть не упал. Витька удивился такому обращению настолько, что даже не заплакал, а только спросил:

— Ты чего дерешься?

— Молчи, бандит! — закричала мать. — Люди с нас сблизис, его размысливая, а он... Можно подумать, у нас лег сегодня другой заботы! Марш в вертолет! Мы все улетаем отсюда на Большой. Скоро здесь пройдет пунами, все порушит.

— А где Верка?

— Улетела первым рейсом. Да живо, кому я говорю! Куда ты?

Витька, вырвавшись из ее рук, уже несся к дому. Мать бежала за ним, словно клушка. Но он пробыл там, внутри, только несколько секунд и сразу выскочил обратно. В одной руке он держал телефонный аппарат, в другой — черепашу Лизку. Обежав растопырившую навстречу ему руки мать, Витька кинулся к вертолету. Двигатель его работал, винт крутился. Дядя Юра Слезкин открыл форточку кабины, высунул голову:

— Эй, Витька, привет! Ты где шастаешь? Давай поехали, а то твои друзья заждались там псбоси!

Мальчик подал руку борттехнику Савватьеву, влез в фюзеляж. Солдаты потеснились, и он уселся на железное сиденье возле шлюпочной кабины. Однако Савватьев не спешил закрывать дверь. Он выжидательно смотрел то на подошедшего капитана Жукова, то на стоящую тут же его жену.

— Ты чего стоишь, не садись-а? — спросил ее Жуков. — А ну быстро, быстро!

— Не командуй! — голос ее стал резким, высоким. — Я не солдат пока! А улечу отсюда только с тобой. И ты мне не прикажешь Юра, взлетай! Валя, закрывайся! Горопитесь, ребята!

— Эх, Лида, что же это ты деласшь? — вздохнул муж. — Мать еще пазываешься...

— Как ты можешь так говорить, Костя? — вдруг заплакала она. — Как ты можешь?..

Он взял ее за руку, и они пошли к содрогавшейся от ветра станции.

А Слезкин уже взлетал. Он поднялся над землей и собирался набрать высоту, как вдруг резкий порыв повел машину вбок, и все почувствовали глухой удар. А в следующее мгновение вертолет рванулся вверх. Витька увидал на секунду бледное, растерянное лицо штурмана — лейтенанта Визяева. Потом мотор загудел ровно, успокаивающе, и машина, подхлестываемая попутным ветром, пошла над океаном в сторону Большого Острова.

Витька сидел тихо, держа на коленях телефон и черепашку. Из всего, что принадлежало ему в доме, это было самое дорогое. Черепашу он любил как память о Кушке, откуда они перескаки жили на Дальний Восток. Он почти не помнил то время и совсем не знал пусты-

ли, однако, глядя на Лизку, мог представить себе жаркое солнце, холмы горячего песка, низенькие кривые кустики, или мог вспомнить тогдашних друзей, ребят из садика. А телефонный аппарат ему подарила Ларка Лапасва. Ее отец привез его с какой-то точки и отдал дочери. Когда Витька в последний раз собирался улетать от Слезкиных к родителям, Ларка пришла, вызвала его через тетю Любу и сказала:

— Вот, принесла тебе телефон. Только ты не задавайся. Захочешь — позвонишь кому-нибудь.

— Кому? Как это? — удивился Витька.

— Ну поларошку же! — объяснила Ларка. — Можешь позвонить или тете Любе Слезкиной, или Герке Хомичу. Или мне...

— А что мы с тобой будем говорить?

— Отстань! Отстань с такими вопросами! — она толкнула ногой. — Много будешь знать — скоро состаришься, вот что! И смотри, не говори Хомке, что я подарила тебе телефон. А то он еще обидится и не будет со мной разговаривать...

Так телефон стал Витькиной собственностью. И с Геркой, и с тетей Любой он «разговаривал» по нему довольно часто, а вот самой Ларке не звонил ни разу. Уже одно то, что раньше аппарат принадлежал ей и она согласилась с ним расстаться ради него, Витьки, будоражило мальчика.

Они мшиовали уже больше половины расстояния, отделяющего точку капитана Жукова от Большого Острова, как вдруг вертолет начало потряхивать. Прерывистые толчки как-то незаметно перешли в мелкую зудящую вибрацию. И чем дальше, тем тряска становилась сильнее. Когда пересекли береговую линию, в машине уже все ходило ходуном. Бортехник Савватьев сполз из кабины и теперь сидел на полу в фюзеляже. На приборных досках у летчиков нельзя было рассмотреть ни цифр, ни делений, ни стрелок. Но Слезкин все вел и вел вертолет дальше от берега, удаляясь в тайгу. Он хотел добраться до отряда. Однако в какой-то момент машину так забило, залихорадило, что стало понятно: или сейчас отвалится несущие лопасти, или она вообще вся рассыплется в воздухе.

Они сели, вернее, плюхнулись на небольшую таскуную поляну. Савватьев с трудом поднялся с пола, добрался до двери и распахнул ее. Солдаты посыпались на

траву. Их старший — замполт роты Рахманов — подошел к кабине и спросил у Слезкина:

— Что случилось, Юра?

— Ты видел, как нас качнуло на взлете?

— Да, и даже слышал удар.

— Это мы рубанули лопастями по верхушке дерева.

Аэродинамика их изменилась, и в ходе полета нарушалась все больше. Фу, до сих пор у меня шарики в голове не в порядке...

Они вышли из вертолета и тоже опустились на траву.

— Ты хоть по радию-то сообщишь? — допытывался Рахманов у лейтенанта Бизьева.

— По радию! — зло сказал тот. — Да она погасла сразу после удара. Нежный механизм, что ты скажешь...

— Пойдем, Вали, посмотрим, что там с ней, — предложил замполт Савватьеву. — Может, разберемся, исправим?

— Бесполезно! Здесь низина. Ни о чем не достать до отряда по радио.

— А лопасти? Можно что-нибудь сделать с ними?

— Нет. Нужны новые, нужна точная регулировка. На эти — никакой надежды. Остается ждать, когда нас тут найдут...

— Надо было садиться сразу после удара, еще на точке! — это сказал Бизьев. — Осмотреть машину, исправить, что повреждено, и только после этого трогаться на Большой Остров.

Слезкин скривился.

— Ты что, не помнишь, что тогда каждая минута была у нас на учете? Стали бы копаться — и совсем, возможно, не улетели бы. А теперь хоть эти люди здесь. Ясно?

— Эти-то здесь... — пробормотал Рахманов.

Офицеры замолчали, поглядели друг на друга, затем все разом — на Витьку Жукова.

— Эй, Витек! — крикнул Слезкин. — Ты почему не выходишь?

— Черешаху лицу, — пропыхтел в ответ мальчик. — Она у меня вышала, когда стало трясти, и теперь заловзла куда-то...

На острове остались Витькины мать и отец, прапорщик Савчук, посемь солдат. И, если не произойдет чу-

да, всех их через недолгое время сметет с лица земли безжалостная Волна... Нет связи... Но неужели действительно нельзя ничего предпринять, и людям суждено погибнуть?

Наконец возня в вертолетной утробе прекратилась, и Витька сполз на землю. В руках у него был телефонный аппарат.

— Не нашел Лизку, — сказал он. — Наверно, она совсем пропала...

Командир вертолета мельком посмотрел в его сторону и задержал свой взгляд на телефоне.

— Неси-ка свой механизм!

Он попросил у Савватьева отвертку и стал разбирать аппарат. Все недоуменно следили за ним. Слезкин спял дно, заглянул внутрь; даже, кажется, припохался. Повеселевшим голосом произнес:

— Вроде исправный!

Бизьев отвернулся, подмигнул Рахмалову с Савватьевым, приставил палец к виску и pokrutyл.

Этот жест не ускользнул от капитана.

— Не паясничайте, лейтенант! — сурово сказал он. — Нашли тоже время... Я совсем не рехнулся от тряски, как вы хотите представить. Я думаю вот о чем: где-то рядом, километрах в полутора-двух справа, проходит линия элетропередач. В полете, если не идти сильно в сторону, ее хорошо видно.

— Отлично ее помню! — кивнул летчик-штурман. — И на картах она есть, и летали мы над ней. Только я не понимаю...

— Ты, возможно, и не поймешь, ты новичок в этих краях. Но строительство линии обслуживал наш отряд. Я тогда еще летал на правом сиденье. Валя, — обратился он к Савватьеву, — ты помнишь, как мы возили туда телефонный кабель?

— Ну как же! — отозвался тот.

— Строили ЛЭП и тут же тянули в земле кабель на точку.

Борттехник охнул и тоже уставился на аппарат.

— Ты хочешь... подсоединиться?

— Думай не думай — больше ничего не приходит в голову. Похоже, это единственный шанс.

Теперь уже и старший лейтенант Рахманов понял замысел командира.

— Какого же черта! — крикнул он. — Торопитесь

же надо! Валя, ломик, лопата, другой инструмент у тебя есть?

— Сейчас, сейчас! — Савватьев бросился к вертолету. — В момент, мигом... — вылез и бросил на траву большую и маленькую лопаты, ломик. Зампотех подобрал это все, вопросительно глянул на Слезкина.

— Поидете вы и Савватьев. Солдат возьмите с собой, быстрее будет дело.

— Симонян, Нуркаев! — командовал Рахманов. — Берите лопату, ломик, и — за мной, живо! Валя, пошли!

И они исчезли в таежной чаще.

Время без них тянулось очень медленно. Витька ходил вокруг вертолета и нашел Лизку. Она пристроилась возле колеса и ела одуванчик. Видно, кто-то, слезая, зацепил ее ногой и сбросил на землю. Витька нарвал ей пучок одуванчиков и сунул черепахе обратно в фюзеляж. Солдаты разбрелись по кустам. Кто сидел и покуривал, кто искал ягоды, кто спал: ночь у них была бессонной, утро и день — тяжелыми. Тишина висела над поляной, над машиной.

Где-то в океане грохотали подземные взрывы, от которых пучилась и раскрывалась кора, а здесь ничего не напоминало об этом: ни спокойные верхушки деревьев, ни чистое небо, ни светившее с него солнышко. Кругом росло много красивых таежных цветов, и Витька довольно быстро нарвал большой букет. Хотел похвастаться им перед дядей Юрой, но тот лежал возле своей машины на животе, и вид у него был такой — не подходи. Поодаль распростерся в той же позе угрюмый лейтенант Бизьев.

Подумав, Витька разделил букет на две части. Одну он решил отдать мамке, чтобы она не сердилась на него за давешнее отсутствие, а другую — подарить Ларке Лапаевой. И пусть Хомка только попробует дразниться! Он так его вздует, не посмотрит на дружбу! И еще Витька отделил небольшой букетик для тети Любы Слезкиной. Понес цветы в вертолет, и в это время на поляне появились старшие лейтенанты Рахманов и Савватьев и двое ушедших с ними солдат. Слезкин с Бизьевым вскочили на ноги:

— Ну?! Чего?!

— Нормально! — подняв в руке телефон, крикнул Савватьев. — Нам удалось подключиться. Сказали, что экстренное сообщение, и просили доложить в наш от-

ряд, как получилось дело. Похоже, что там поняли ситуацию. Даже дослушивать не стали...

— Победа, командир! — заорал Бизяев.

— Нет, это еще не победа... Теперь вопрос — найдется ли в отряде свободная машина. С утра все исправные вертолеты разлетелись по точкам, и когда мы уходили в последний раз, там оставались только вертолет командира отряда, майора Лузгина. Если подняли в его, и не вернулись ни один экипаж...

— Неужели не найдут выхода? — тревожно спросил Рахманов. — Найдут! Снимут машину с точки, с маршрута...

— Пока снимут — время уйдет. А оно теперь — самое главное. Сколько времени у Жукова и оставшихся с ним людей? Когда мы готовились к взлету, сейсмологи передали, что роте можно рассчитывать на три — три с половиной часа. Но это — крайний срок. Вертолет с отряда до жуковского хозяйства идет час десять — без ветра, в нормальном режиме. Учтем сильный ветер с океана — еще минут десять-двенадцать. Да и не всякому дадут вылет... Хотя что ж, случай экстренный. В общем, так: если через полчаса над нами не пройдет машина из отряда... — у капитана запершило в горле, он закашлялся, отвернулся и пошел, сутулясь, в сторону леса.

— А мы тут сидим! — прорычал вдруг замполтех Рахманов. — Там цунами... Капитан с солдатами, Лида... А мы тут сидим! Ух-х!

— Ну что же мы можем сделать? — мягко сказал ему Бизяев. — Сне от нас, как говорится, не зависит.

— Знаешь что? — задохнулся Рахманов. — Пошел бы ты...

Витька слышал разговор офицеров, но никак не мог толком понять, почему они ругаются. Куда-то ходили с его телефоном, вернулись... Ну, остались на острове панка с мамкой — так ведь не раз уже бывало, что он улетал с дядей Юрой, а они оставались.

Мальчику вдруг стало тревожно и тоскливо. Вспомнились обстоятельства сегодняшнего внезапного отлета. Сначала отправили Верку, потом его... «Скоро сюда придет цунами, все порушит», — сказала мать, но он не обратил внимания на ее слова. Что такое цунами, как она может все порушить? Ведь не страшнее она шторма, а шторм можно пересидеть дома, так уже не однажды

бывало. Еще залезая в вертолет. Витька решил, что взрослые опять затеяли какую-то свою игру: с эвакуациями, вертолетными десантами, повышенной готовностью радарных станций, вдоль и поперек океана снующими кораблями и катерами... Но какая же может быть игра, если тишина висит над поляной и люди избегают смотреть друг на друга?..

— Летит... — вдруг тихо сказал Савватьев и встал. — Летит, братцы-ы!... — завопил он, и, совершая чудовищные прыжки, стал что-то выплясывать по поляне.

Из кустов посыпались солдаты, они задирали головы, смотрели в небо.

Бизяев заскочил в кабину, вытащил ракетницу и пустил в небо ракету. Шедший чуть в стороне вертолет развернулся и стал снижаться в направлении поляны. Вскоре он, смяв ветром траву, опустился рядом со слезкинской машиной. Летчик не сбавил оборотов — лопасти все так же бешено продолжали рубить воздух. Только открылась дверца, и на землю прыгнул майор. Витька узнал его: это был инженер отряда, сосед Слезкина по дому. За ним двое техников в синих рабочих костюмах, с отвертками в нагрудных карманах, выпесели из большого вертолетного брюха лопасти несущего винта. Тотчас борттехник захлопнул дверь, и машина стала отделяться от земли. Сдвинулась форточка с левой стороны пилотской кабины, и из нее высунулось толстощеekое лицо командира отряда Лузгина. Он что-то выкрикнул, закрыл форточку, и вертолет, взмыв над поляной, пошел в сторону океана.

— Ну вот, а ты боялся! — сказал Слезкину Савватьев. — Сам Лузгин полетел. И даже нас не забыл. Ну, ничего, время еще есть, а сесть он сядет.

— Да, он-то сядет! Он везде сядет... — подтвердил капитан и спросил: — А вы не слышали, братцы, что он крикнул? Я не расслышал.

— Мне показалось, он крикнул: «Эх, летуны!» — сказал один из техников.

— Значит, не мифовать высшей кары, — погрузился Слезкина.

Бизяев удивился:

— За что, товарищ капитан? Разве кто-нибудь виноват, что так получилось?

— За что... Раз подучилось, значит, кто-нибудь да виноват. Так что готовимся к изысканиям.

— Всегда готовы! — буркнул бортехник.

— Ты-то что! Ты молодец! Тебя-то уж я в обиду не дам...

— Ладно, хватит болтать! — распорядился инженер. — Давайте работать...

И техники с летчиками полезли наверх, к механизму лопастей. Витька же забрался в кабину. Уселся на кресло дяди Юры Слезкина, обхватил ладонями толстую ребристую рукоятку ручки управления и стал изо всех сил пытаться двигать ее: взад-вперед, влево-вправо.

— Эй, кто там балует в кабине?! — донесся сверху строгий голос.

Витька испугался, вывернувшись из кресла и по нагретой душной вертолетной утробе прокрался наружу.

По долине начинали гулять ветерки, небо со стороны побережья темнело от высоких, рваных, косматых туч. Летчики смотрели на них с тревогой: в самое пекло полетел командир отряда майор Лузгин, чтобы снять людей с далекого клочка суши в океане! Когда бушует стихия, там дуют, бьются, ветры такой силы, что могут просто не пустить машину: на ее пути словно возникает твердая, непроницаемая стена. — воют на полную мощность моторы, работают лопасти, прибор показывает скорость, а вертолет стоит на месте. И еще: рвет порыв ураганной силы, и машина, беспорядочно кувыркаясь, полетит вниз, к высоким седым гребням над черной водой...

...Далеко, за многие мили от границ нашей страны возникла Волна. Что-то произошло в глубинах океана, крепкая земная кора лопнула, из трещины выдвинулась раскаленная лава. Жители прибрежных селений, рыбаки с сейнеров, ихун и лодок, моряки застывали в ужасе: Волна шла своим страшным путем, круша и затопляя на пути все, что только попадется. Выходили из гаваней, бухт корабли, спешили в открытый океан, дабы Волна вознесла их и опустила обратно, вниз, на обычный уровень воды. Сворачивала работу легкомоторная авиация. Но все люди — и гражданские, и военные — знали твердо одно: первым делом надо вывести в безопасные места тех, кто попал в зону действия цунами...

Капитан Жуков встал, оперев рукой о ствол дерева с изуродованной вершиной, возле которого только что сидел, и сказал сквозь ветряной пошвист:

— Полагаю, что ждать дальше бесполезно. Сюда сейчас не долетит и не сядет уже и сам господь бог. Что-то с Юркой стряслось, а то бы он прилетел, иначе просто быть не могло...

Жена плакала.

Прапорщик Савчук и восемь солдат молча сидели на земле, курили.

— Нет, Костя, я ни о чем не жалею, — сказала жена капитана. — Случись решать снова, я поступила бы так же. Если уж суждено — только вместе с тобой. Но вот о ребятах думаю — что с ними будет? Ни бабок у них, ни дедов, ни другой близкой родни...

— За ребят не надо бояться, — Жуков обнял жену за плечи. — Ребят Юрка и Люба Слезкины и вырастят, и воспитают.

Когда от побережья, из-под низко опустившихся, ползущих над землей туч выскочил вертолет и, гонимый попутным ветром, промчался над поляной, все замерли на своих местах.

Машина развернулась, раскачиваясь, пошла в обратном направлении. От нее отделились одна за другой две зеленые ракеты.

— Что это он сигналит? — задирая голову, спросил Рахманов.

— Сигналит, что все в порядке, — ответил инженер отряда. — Мы договорились, что, если все будет в норме, он даст две зеленых. Ты понял?! — сверху крикнул он Витьке. — Живы твои папка с мамкой!

— Ну и что? — невозмутимо ответил мальчик. — Они у меня всегда были живы.

— Эх ты, Витька! — Слезкин обнял его и прижал к себе. — Наверно, для твоих родителей сегодняшний день — память на всю жизнь, а ты ничего не понял. Ладно, может быть, поймаешь со временем...

Волна ударилась об островок и пошла над ним. Разлетелись, будто собранные из щепок, домики, в которых жили офицеры и сверхсрочники. Вал спес до фун-

дамента кирпичное здание служебных помещений роты. Переворачиваясь, катились в океан будки с радарными антеннами, дизелями, сложной аппаратурой слежения. Опустившись на дно, они ложились на бок и замирали. Их окружали корпуса старых шхул, катеров, разрушенные фюзеляжи самолетов, покоящихся здесь со времен минувших войн, штурмов и катастроф, смытые с палуб винтовки, пулеметы, пушки... Долго будут лежать в воде хитроумные сооружения; рыбы, крабы и прочая морская живность станут ютиться в их укромных уголках, пока не укроет весь этот металл илом и песком...

Волна прошла по островку и, не приняв в свою утробу ничего живого, с недовольным грохотом укатилась дальше.

Пока устанавливали новые лопасти, Витька спал на траве возле кустов. Дул ветер; мальчик укрылся своей курточкой с капюшоном, да еще Слезкин положил на него сверху кожаную тужурку. Потом засвистел стартер, загудели моторы, все увеличивая обороты, и Витька проснулся. Техники с инженером стояли возле машины и смотрели, как раскручиваются лопасти. Капитан приподнял вертолет на метр от земли, повисел немного, мягко опустился и показал инженеру большой палец. По команде Савватьева все полезли в фюзеляж. Витька сел на свое прежнее место возле кабины. Цветы он сунул под сиденье, а Лизку снова взял на руки. Когда двигатели завывли на самой высокой ноте, предшествующей взлету, Витька повернулся к круглому окошечку, глянул в последний раз на полянку и вдруг завопил, дергая за рукав борттехника:

— Дядя Валя, дядя Юра, стойте! Эй, эй, стойте! — Он бросился к двери и попытался открыть ее.

Слезкин кивнул, и Савватьев выпустил мальчика на поляну. Там возле кустов, рядом с местом, где только что спал Витька, валялся телефонный аппарат. Подарок Ларки Лапасовой! Как бы он показался после этого ей на глаза! Витьке стало даже жарко. Прижимая телефон к груди, он побежал обратно к вертолету. Борттехник подхватил его, втащил.

— Дай-ка сюда! — сказал ему Слезкин, протягивая руку. Взял телефон, повертел черный блестящий корпус. Наклонился с сиденья и крикнул Витьке: — Держи

свою реакцию! Скажи отцу с матерью: пускай хранят вечно!

Взялся за большой рычаг:

— Но, саврасушка, трогай! Поехали-и!



Анатолий Гребнев

* * *

Ну что еще ты так берег,
когда скитался в отдаленьи,
но помня каждый бугорок
и каждый дом своей деревни?
И неспроста,
и неспроста
тебя из грохота и гула
опять в родимые места
неодолимо потянуло!
Благословен будь, отчий кров!
Душа к земле не охладела.
Она пустых не терпит слов,
а просит дела,
дела,
дела!

КУПАВА

Сорву луговую купаву —
И время развеется в дым,
И ночь на Ивана Купалу
Взовьется огнем золотым.

С тобой нас она возносила
Над миром,
Над лугом большим,
Над роторным громом косилок,
Над шумом стихавших машин.

С тобой нас она ослепила,
как пламя костра — мотыльков,
Всем трепетом юного пыла,
Огнем всех прошедших веков.

С тобой нас она оглушила
Языческим пением птиц,
И звездною дрожью кувшинок,
И звонким сияньем зарниц.

С волшебною легкостью в теле,
Как боги в славянских веках,
С тобой мы на стоге летели
В цветущих купальских венках.

На кудри сама надевала,
Венки те
Сама ты плела.
Все помню
до капельки малой.

Не помню,
когда ты ушла.
В какую ты даль улетела,
Какой тебя ветер увлек,
На кудри какие надела
Ты свой подвенечный венок.

ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ

Ивану Байгулову

Разве будет земля эта пухом,
если мерзлая — друг мой, прости! —
в крышку черную тяжко и глухо
из моей упадет горсти?

Как тут надвое сердцу не рваться?
Гляну в узкую тесную тьму —
разве мыслимо там оставаться,
оставаться совсем одному?

Разве есть утешение в плаче?
Каждый скорбную думу таит,
потому что ведь так иль иначе
то же самое всем предстоит.

Зарекаюсь бороться с судьбою
и молю об одном только я:

чтоб в мой час,
как сейчас над тобою,
так же тесно стояли друзья.

И, украдкой глаза вытирая,
мой последний оплакали путь.
Ах ты, мама,
землица сырая,
понежней к нам, родимая, будь!



Михаил Голубков

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

ПОКАЖИ МНЕ РЕЧКУ

Памяти Ивана Байгулова

Он был заядлым рыболовом, причем каким-то особенным, изящным и утонченным рыболовом.

Он любил маленькие лесные речки, смахивающие, скорее, на ручьи, с прозрачной родниковой водой, с неизменной почти всегда для таких речушек рыбой — хариусом, который и рыбой-то плохо пахнет, больше огурец напоминает, только что из парника и только что разрезанный.

Он находил эти речки буквально под боком, чуть ли не в черте города. Он садился на автобус, отъезжал километров тридцать-сорок, сходил, едва показывался лес, углублялся в него и — удивительное дело — возвращался с уловом. Это было невероятно, это было какое-то волшебство! Попробуйте-ка в наше время наловить хариусов, да еще совсем близко от грохочущих городских улиц, от дымящих цветными дымами заводских труб.

Правда, хариусов он приносил не так уж и много, на счету, как говорится, была нной раз каждая рыбка, но главное, что приносил, главное, что получал огромное наслаждение от своих вылазок, получал необходимый заряд для работы за письменным столом.

А дома он прямо-таки священнодействовал над хариусом, заставлял его по собственной, давно выверенной рецептуре, слабривая засол специями разными, любил угощать и удивлять хариусом гостей, тоже священнодействуя при этом, мелко нарезая рыбу и красиво раскладывая ее по тарелочке.

Мы, друзья его, «бандиты», как он нас шуточно называл, мало ценили этот его, я бы сказал, хариусный ритуал, крепко иногда, без должной скромности, наваливались на редкий сейчас деликатес, словно только ради нас хозяин и старался, и ходил на рыбалку, но Ивану, кажется, и это доставляло большое удовольствие:

смотреть на нас, бесчинствующих за столом, спорящих до крика, до хрипоты о литературе; сам он был из-за здоровый едок и питок слабенский, однако в споры наши всегда вносил свое спокойное, весомое слово, своевременно охлаждая чьи-то не в меру горячие головы.

Он любил нам рассказывать о своих рыбалках: о жилах, крючках, насадках, о тонкостях ловли хариусов. Малые лесные речки были для него просто необходимостью, неотъемлемым влечением. Он искал их без конца и неутомимо. И не только вблизи города. Чуткий и деликатный в обращении, он частенько спрашивал меня: «Ну, когда к тебе можно приехать?» Он имел в виду мой домишко в поселке Красный Маяк. Как-то я рассказал ему о речках в тех местах, и Иван загорелся: «Покажешь хоть одну?» — «Да когда угодно».

И вот однажды, уже глубокой осенью, в октябре, он наконец-то приехал ко мне. Приехал за полдень. Сначала я слышала голоса на улице, выглянул в окно — Иван разговаривал с женщиной, показавшей ему, где я живу.

Я выскочил навстречу, Иван нагрянул кстати, работа моя не шла, и я тяготился своим затворничеством.

Иван с дотошной крестьянской основательностью осматривал наше хозяйство, ходил по двору и вокруг домишка, заглянул в баньку, остался доволен неухоженным, запущенным огородом, с невыдержанной до сих пор редькой и морковкой, он считал, что писатель должен писать, а не заниматься «плодово-ягодным разведением».

Затем мы пошли в домишко. Здесь Ивану больше всего понравилась пустота, русская печь и кот Черныш, сразу же уютно обосновавшийся у него на коленях. Кот наш очень скучал по людям, хозяева часто и надолго оставляли его одного, уезжали в город, и Черныш потом нахально отыгрывался, на гостях в первую очередь, добирал необходимую ему ласку и внимание. А гость есть гость, вежливость порой не позволяла ему стряхнуть с колен кота.

Но Ивану кот вроде бы и в самом деле пришелся по душе, Он говорил мне:

— Все у тебя тут есть для работы: одиночество, тишина... даже кот с манишкой!

Грудь кота и впрямь была чистойшей белизны, мне порой казалось, что он только ее и вылизывает.

— Не все, не все... — отвечал я Ивану. — Вот и гостя угостить особенно нечем. Пойдем-ка давай в лес, там я на ужин пару рябков привязал.

— Нет, нет. Никаких рябков. Рябки меня несколько не интересуют. Ты мне сперва речку покажи.

— Речка завтра будет... идти далеко. А сегодня о другом беспокойство.

— Какое беспокойство? Полон вон рюкзак еды.

— Я угощать должен. Хозяин в доме барин... Брось kota баловать, поднимайся.

И мы налегке, взяв лишь ружье, вышли из дому.

Погода стояла ветреная, морочная, и я не слишком-то считывал добыть рябчиков, но чем, как говорится, черт не шутит...

Задворками, огороженными сенокосами, мы поднялись по угору за поселком, углубились в лес знакомыми мне тропками. И хоть Иван шел сейчас не за хариусом, настроение у него было отличное, лес бодрил, радовал его, или, возможно, он уже жил завтрашней рыбалкой.

— Посмотрим, посмотрим, что ты за охотник, — подтрунивал он надо мной. — Хвастать небось только горазд, как и все охотники.

Уже начинало смеркаться. Тучное пасмурное небо помогало сумеркам, темнота сегодня быстрее наставалась, птица по такой непогоде рано усаживается на почку, в нашем распоряжении было всего каких-нибудь полчаса. Если за это время мы не добудем рябчиков, то вообще не добудем.

Я почти непрерывно посвистывал в манок, я замедлял шаг, я даже останавливался в тех местах, где должны были быть рябчики, и свистел еще настойчивее.

— Давай, давай... заливайся, — посмеивался Иван. — Крепко ты их привязал!.. Ну, охотнички! Ну, трепачишки!.. Я ж говорю, что вы за народец. Почше еще нас, рыбаков.

Настроение у Ивана не портилось, как и у меня же, несмотря на большой риск и впрямь проследить хвостуном, нам было хорошо обоним от встречи, в лесу было теплее, домашнее как-то, чем на угоре, не так ветрено, — что из того, что не отзываются рябчики?

Но вот в одном из ложков рябчик откликнулся. Откликнулся раз, откликнулся другой, откликнулся третий... Однако подлетать и нам явно не собирался.

Скрадывать его, я знал, бесполезно. Все равно не подпустит, упорхнет — отзывать перестанет. Тогда я предложил Ивану:

— Мы так сделаем. Я буду пересвистываться, а ты обойдешь по ложку и спугнешь рябка. Он должен подлететь.

— Ага, прямо на ружье усядется. И стрелять не надо, руками хватай.

Я настаивал, убедил-таки Ивана согласиться.

— Только подальше обходи. Слышишь ведь, где он свистит.

Иван по-прежнему насмешливо ворчал:

— Ох, горе-охотнички! Ну, наро-о-о!.. Мало, что в такое ли-

повое, безнадежное дело втянул, так он меня еще и в качестве собаки использует.

Он ушел. Ложок был чистый и неглубокий, сквозил негустым грым осинником, толсто напавшая листва была сырая, мягкая, не шуршала под ногами, и Ивана сразу не стало слышно. Я продолжал подманивать рябчика. Но подманивал уже машинально, безразлично как-то, думая вовсе о другом.

Он ушел, и я вдруг проник к нему такой благодарностью, такой привязанностью, что в глазах заморозило, за этот его неожиданный наезд, за разделение моих душевных недугов, я чувствовал, что завтра у нас с ним будет прекрасный, счастливый день, я уже твердо знал, что, когда он уедет, работа моя пойдет, что чистая бумага не будет мне противна, должна, наверное, пойти после этого и у него работа, ну, если не от встречи со мной, то от встречи с незнакомой для него речушкой, от встречи с хариусами, ему после рыбалок хорошо писалось.

Вскоре рябок замолчал. Верный признак, что слышал Ивана. Я приготовился стрелять. Сейчас рябок сорвется и перепорхнет. Напрасно Иван сомневался в моей затее, способ надежный, не раз испробованный.

Рябок сорвался громко, но совсем почти бесшумно спланировал на елку, рядом с которой я стоял, только воздух коротко ворохнулся, прошелестел под его крыльями. Не стоило большого труда срезать рябка еще до того, как он выпустил на посадку свои мохнатые цепкие лапки. Падая, он словно бы продолжил полет, так, в полете, незаметно, наверное, для себя и перейдя в небытие, даже ни разу не шевельнулся на земле, лежал, уткнувшись хохлатой головкой в листву.

Выстрел, такой резкий и оглушительный по вечерней тишине, крепко, должно быть, изумил Ивана, он молча и напрямки лопаясь ко мне, не выбирая дороги.

— Ты смотри-ка! Взял ведь!.. — поднял он рябка за крыло, разглядывал его, уже отливявшего, сменившего летнее оперение на зимнее, более пушистое и теплое, теперь не столько бурое, сколь срыж, с красной, крупно и грузно набрякшей в клюве каплей. — Охотник! Охотни-ик!.. Беру свои слова назад. Готов еще послужить верой и правдой!

— Погоди, — умерил я его пыл, рыбаки ведь, что и охотники, живо в азарт входят. — Сейчас после выстрела и без моего манка перекликаются начнут.

Через минуту рябки действительно всю разошлись, смело забалабонили меж собой, успокаивая, убеждая друг дружку: тут, мол, все они, на местах, ничего, мол, страшного не случилось, спокойной всем почив.

Они пересвистывались ниже по ложку, по обоим склонам его, и вечерняя вязкая мгла как бы слегка развеялась, растворилась от этих их чистых и высоких трелей, попридержала вроде немного свое насыщение, свое быстрое скатывание к земле.

— Я встану впереди, метрах в семидесяти отсюда. Калякать с ними начну, — сказал я Ивану. — А ты спустишь в ложок и вди тихонько, спугивай по одному.. Какой-нибудь да наш будет.

Все точно так, как по писаному, и вышло. Потревоженные Иваном рябки давай перепархивать вдоль ложка, и один из них угодил под мой выстрел.

Опять Иван спешил, опять прямо-таки по-детски радовался удаче:

— Ловко вы! Может, еще успеем?

— Хватит. Ишь, разошелся. И в роли собаки понравилось? — теперь уже я подтрунивал над ним. — Неси-ка добычу лучше.

Мы посмеялись, остывая, отходя от охоты. Все вокруг тоже утихомиривалось: ветер вверху, над осинником, сник, лес чернел, тяжелед, наполняясь каменной неподвижностью. Иван закурил, оглядываясь на выдвинутую отовсюду, падающую и немолимо сужавшуюся темноту, чудилось, что на нас накидывают, хотят завернуть в одеяло, толстое и глухое.

— Хорошо-то, господа!.. как в могиле, — спокойно, словно о чем-то вполне обыденном, сказал Иван, но сердце мое вдруг больно кольнуло, суверенным холодом обложило.

— Не надо, Иван!.. Не поминай себе.

— А она и без поминок свое дело туго знает.

Он взял в каждую руку по рябку, я видел, как приятно ему держать птиц за мохнатые шелковистые лапки, рябки в таком ви-сячем вниз головой положении раслушиваются, распускают, будто в полете, крылья и показывают гораздо крупнее и увесистее, чем есть на самом деле.

Мы молча шли узкой, нахоженной поселяковским скотом, тропкой, палая листва под ногами отзывалась упругостью, не цавкала, впитыв в себя дождевые лужи, сгладила, забила собою все ко-рвэви, овечьи и козы выбонны, темнота уже подступила совсем вплотную, ласково и тепло обнимала нас, услоканвала, приводила в согласие и единство с природой.

Разговаривать нам незачем было, все понималось и чувствовало-лось без слов, мы сейчас были как никогда близки друг другу, близки миру, породившему нас, бросившему нас, жалких, слепых и беспомощных, на поиски жизненных путей. Мир этот был сейчас как никогда дорог нам, остро ощущим и слит с нами, а ведь кругом — хоть глаз выколи. Но как глубоко, размеренно, вливая в нас силу, дывала земля, тропа, которой мы шли, холодеющая уже, па-

бухшая в осенних ненастьях, с легким уже запахом глена, как ясно виделся нам и лес рядом, полностью и веде облежавший, прибранный и совсем готовый к зиме, какие беспредельные звездные выси распаивались нам сквозь низкую толщу нависших облаков.

Свет поселковских огней внизу, ярко и как-то внезапно откравшихся, остановил нас на угоре. Огни казались далекими, холодными и обманчивыми, но в то же время необычайно реальными и близкими, словх протянуть руку — и дотронешься, обещающими надежное домашнее тепло, уют и покой.

— Все у тебя для работы есть, все. — Иван будто ни на минуту не прерывал начатого ранее разговора. — И не пшци, не селуй на судьбу. Писка в нашем деле никто в расчет не примет.

Тихо потрескивали догорающие дрова в подтопке, домишко до отказа заполнялся запахом дичины, запахом загущенных в картошке рябчиков.

Мы сидели в маленькой, едва вместившей нас, кухне, на коленях Ивана, конечно же, устроился, пригрелся мурлыкающий и потягивающийся в блаженстве Черныш. Иван, первио и машинально поглаживая кота, говорил:

— Опять новал кампания обозначилась. За укрупнение колхозов и совхозов ратуют, за слос «инеперспективных» деревень... Сколько же было таких пот скоропалительных каманий: и с эмгезами-то туда-сюда шарахались, и кукурузу-то внедрили, внедрили, и на приусадебные участки руку накладывали, и скота много не держи... И главное, что от всего этого пришлось в конце концов отказаться, а дело сделано — после каждой такой кампании опять непоправимый ущерб сельскому хозяйству, опять очередной отток людей из деревень.

Где бы и когда бы мы ни встречались с Иваном, речь всегда заходила о деревне, о ее прошлом, настоящем и будущем. Деревня была его радостью и болью, плотью и кровью, предметом постоянного и неустанного внимания. Он говорил о ней страстно, знающе, порой с несвойственной для него горячностью и заальчивостью, но всегда убедительно и весомо. Он жил ее бедами и нуждами, ее достижениями и новшествами. Он до конца остался предан ей и в своем творчестве. Его последняя незакопченная повесть «Вольный ход снеговиды» — достойное тому подтверждение, доказательство прочной верности и привязанности избранной теме.

Он высоко ценил творчество писателей-деревенщиков: Федора Абрамова, Василия Белова, Виктора Астафьева, учидся у них в первую очередь литературному мастерству, бережному отношению к слову, к великому наследию русской классики, серьезности и от-

ветственности за писательскую профессию. Его восхищала зябодисциплина и современность их произведений, глубина и острота их мыслей и вопросов, которые они ставили перед страной, перед обществом, ставили смело, талантливо, со свойственной только большим личностям прямотой и откровенностью.

Помнится, как он восторженно отзывался о Иване Васильеве, чей яркий публицистический дар так бурно, полезно и необходимо расцвел в наши дни. Они познакомились на съезде писателей РСФСР, жили в одном номере гостиницы «Россия». Представляю их общение, их разговоры, общение двух бывших журналистов-газетчиков, которым есть что сказать друг другу, общение двух Иванов, двух в полном смысле интеллигентов (оба закончили педагогические институты, обом пришлось потянуть учительскую лямку), двух просто людей, живущих одними заботами и интересами, и, в частности, заботой о дальнейшем развитии Российского Нечерноземья.

И было чудесное солнечное утро, утро, что называется, на «ять», с тонким сухим инеем по кустам и траве, с чистейшим, освободившимся из края в край небом, пронзительно синим и лаково блестящим.

Мы шли квартальной просекой, вернес, тракторным следом по кварталке. Ездили здесь мало, раз-два в году, да и то после крепких заморозков, первоснежья дождавшись, за сеном, туда и обратно, поэтому просека и в настоящую дорогу не превращалась и подростом не затягивалась.

Солнце поднималось впереди, но чуть сбоку от просеки и не мешало нам, не слепило, путаясь, умеряя свой свет в липняках и осинниках, хоть и совершенно безлистных, сильно сквозивших. Оно только над полянами ничем не заслонялось, сияло открыто и вольно, обдавало нас теплом с головы до ног, стояло с травы ишей, прозрачно и нежно курившийся.

Иван не давал мне задерживаться, подманивать рябчиков до рокой:

— Успеешь еще настреляться. Покажи мне речку — и, пожауйста, свисти себе на здоровье.

— Дорогое время упускаем. Днем рябчик плохо отзывается. И тем более — не подлетает. Даже в такую погоду.

— Ничего, куда не денутся твои рябчики. Ты, я смотрую, крепко насобачился. Как в огород за ними ходишь.

— Как и ты за хариусами.

Иван довольно хмыкнул:

— Посмотрим, посмотрим, что ты мне поднесешь... Там, может,

рыбки три на всю речку и плавают. Да и те небось одни хвостики, одно название, а не рыбки.

— Да и те, поди, забьдись куда повальше, — смеясь, подхватила я. — Погибель скорую чувят, злостный харюзятник идет!

А рябки по обеим сторонам просеки взлетали часто. Взлетали и сразу же подавали голос, провожали нас высокими, пленительными, хоть и однообразными, трелями, — и то сказать, не соловьи ведь, не томная весенняя ночь над ними. Стоило где-нибудь остановиться на минутку, пошвыстеть — и певец был бы у меня в рюкзаке. Но Иван широко шагал впереди, будто это он вел меня к речке, а не я его.

Мы уже шли часа полтора. Просека то взбиралась в крутые узоры, одни давно, другие совсем недавно вырубленные, оголенные, выдуваемые ветрами, выжигаемые солнцем, худо зарастающие даже липняком, то неожиданно проваливалась в глубокие и мелкие распадки, тоже вырубленные, но больше все же темные от поднимающегося кое-где елушника, она то сужалась до слабой, плохо прибитой и приметной дорожки, то вновь расширялась, где в нее вливался тракторный путь.

Когда просеку наконец пересекла лесовозная трасса, мертвая сейчас, в глубоких колеях, затянутых затхлой цветной пылью (лес по трассе будет вывозить позднее, в ноябре-декабре, обледев и накатав ее), я сказал Ивану:

— Дальше мы прямушкой спустимся в дог, вдоль которого и тянется эта трасса. Там, в логу, и течет речка. Там я вас и оставлю наедине, милуйся, обнимайся с ней... А меня уловь, я за рябками побегая... Так вот — вечером, а может, и раньше, если твой рыбак почему-то не заладится, выходи на трассу, а с нее попадешь и на просеку. Запомни хорошенько это место, не проекожь... В поселок можно, конечно, и по трассе попасть, но дальше немного.

— Все ясно, — сказала нетерпеливо Иван и опять заспешила впереди. И заспешила в нужном направлении, будто речку он по западу угадывал.

Близость речки и впрямь чувствовалась, склон дога стал круче и глуше, воздух влажнее, старый, замшелый ельник теперь окружал нас. И вот наконец послышался шум воды, мелодичный перебор речных перекатов, воздух еще больше повлажнел, ельник сменился ольховником, не менее перестойным и загнывающим на корню, заполненным понизу высокой (выше головы) крапивой, уявдшей и почерневшей уже, но все еще больно жалящей.

Иван бесстрашно продирался сквозь сухостой этой лонкой пыльной дурнины, проламливал и для меня ход, весь осыпанный мелким крапивным семенем.

Речка открылась нам, речка разная: тут вот она неширокая и довольно глубоководная, там вот она пошире, но зато и помельче, речка быстрая и почти замораживающая, речка безмолвная и ворчливая, всяким лесным хламом забитая, закоряженная через каждые пять — десять метров и прихотливо извилистая, поистине лесная уральская речка, с перекинутыми повсюду через нее упавшими ольхами, а то и елями, с зелеными, сочными еще — и холодные утренники не берут! — лопухами на отмелях, с черной некрупной галькой по дну, отчего речка вся темная, но сколько чистоты и света, сколько извечной мудрости и необходимости чудится в ее прозрачном водном струении, как завораживает и притягивает она! Попробуйте-ка хоть немного посидеть у такой речки, послушайте, посмотрите на воду, можете всласть, до ломоты в зубах и напиться, это вам не захлориванная городская вода, вы скоро почувствуете, как в тело ваше вливается что-то удивительно свежее, очищающее и здоровое, как душа ваша промывается от земной суеты, от житейского шлама и наклип.

Иван, как тончак, почувшавший близкого зайца, устремился вверх по речке. Он и подбежал, и, можно сказать, подкрался в первому же попавшемуся омутку, застыл, не подходя близко, вытянув шею, вглядывался в воду чуть пониже брошенной с противоположного берега ольхи, переплетенные, зазеленные ветки которой бороздили речку, собирали, как сеть, плавающий осенний лист и мусор.

— Ага, вот вы где, голубчики!

Иван еще дальше отогнулся от воды и стал настраивать удочку, сращивать легкое бамбуковое удилице. Леску он размотал недавно, короче удилица, чтобы удобнее было закидывать, насадил на крючок бойкого, извивающегося дождевого червя.

Оби мне он, похоже, совсем забыл, ничто на свете сейчас не было для него ближе харюсов.

Сгорбившись, осторожно крадучись, он опять приблизился к воде, ловко и точно забросил крючок с червяком в омуток, без всякого всплеска поплавок и дробный грузила, — умение, необходимое для харюзятника. Красный поплавок, не шелохнувшись, сплавился на некое дно лески, до самого переката сплавился.

— Не нравится, значит? Не подходит? — благодушно, несколько разочаровавшись, наговаривал сам с собой Иван. — А мы вот эдак попробуем... — И он снова искусно послал снасть, теперь под самые ольховые ветки. И тогда, едва бесшумно шлепнувшись на воду, поплавок стремительно и прямо нырнул в глубину, и сначала там, у темного дна, а затем и в воздухе, вспыхнуло, закипело серебро, полетела на берег трепыхающаяся рыба. И она еще ярче вспыхнула, заблалась упруго, заходила колесом, вороша, проламли-

вая корку из побуревшего, сплошь устилавшего здесь землю листа ольховника.

Иван укротил колесо, прижал хариуса, вызволил крючок, поправил насадку.

— Гляди, какой красавец! — вспомнил он про меня, ухватил рыбу за жабры, высоко поднял ее, еще содрогавшуюся и бьющую хвостом, с розовыми топорщащимися, колкими плавничками, с темной, круглой и сильной спинкой, горящую по бокам изумрудными каплями.

— Соблазнить думаешь? Хочешь, чтобы и я на рыбалку переключился?

— Конечно, хочу! Нашел занятие — из ружья шмалеть. Убивец ты несчастный!

— Не выйдет ничего, не стоворишь. Я в свое время нарыбачился в Амурской области, в лесоустроительной экспедиции — на всю жизнь хватит. Там этого хариуса надергать — раз плюнуть. И разве такого хариуса? — взял я у Ивана рыбу, взвесил ее в руке. — Действительно, хвостик один. Там такого хариуса и за рыбу не считают. И раскраской этот бледноват, бледноват-аг против приамурского. Там жемчуга, кораллы, а не хариусы!

— Давай, давай! — выхватил тем временем из воды еще хариуса Иван. — Мели, Емеля, — твоя неделя. Тебе только осталось и писать подобно, как ты сморозил... кораллы, жемчуга. Глядишь, и печатать перестанут. Я первый напишу на тебя разгромную рецензию.

— Не напишешь. Ты все, что касается хариусов, пропустишь. Нахвалять еще будешь. Ты ведь помешан на них.

— Помешан, помешан, — посмеивался Иван, положив обоих хариусов в рюкзак и переходя дальше по реке. В первом омутке больше не клевало, то ли всего два хариуса было, то ли остальные, напуганные, разбежались.

— Ты сейчас, знаешь, на кого похож?

— На кого?

— Да есть на свете один нудак. Тоже ба-альшой специалист насчет рыбки: и покушать, и послушать, и сочинить...

— Кто это?.. Нет больше таких, — с преувеличенной дурашливой реваншностью вскрикнул Иван. — Я один такой!

— Астафьев, Виктор Петрович, вот кто.

— А-а! Ну, Виктор Петрович пусть. Виктор Петровичу можно уступить...

— Я в шестьдесят седьмом с Камчатки прискал, вербовался туда на сезонные работы. Вот где еще рыбы-то! Нерка, кижуч, чавыча! Чувствуешь, как звучит?

— Чувствую, чувствую! — приглядел Иван новое место для

заброса. — Приехал ты. Дальше? — полетел на берег третий хариус.

— И сразу в деревню к нему — про Камчатку рассказать, бабычком угостить. Он тогда еще в Перми жил, вплотную к «Пастуху и пастушке» подступал... Так вот он, как и ты же, — ходит по своей Быковке, с полевой сумкой через плечо, пастух и пастух деревенский. В пижаме какой-то немислимой. Ночной, полосатой, ладчатой. И с таким он ее удовольствием носит, что прямо завидки берут! Ходит, арии распеваает и выдергивает из-под каждой корытки хвостиков, не больше, кстати, твоих.

— В пижаме, говоришь? Арии распеваает? Я сейчас и сам затану!

— Приятного голоса. Я пошел.

— Ни пуха ни пера, убивец несчастный!

Весь день было чисто и просторно, синее и лучезарно над головой, тянуло без конца смотреть и смотреть вверх, в какой бы глухой елушник я ни забирался, как бы он ни заслонял небо. Солнце прилежало почти по-легкому, порой хотелось сесть где-нибудь на открытом, утреннем месте и дремать, дремать, впитывать в себя благодатное тепло. Но охота брала свое, когда еще такой подходящей день выдастся? Осень, сворачиваются, гаснут деньки. Могло ли прийти мне тогда в голову, что день этот явится началом других солнечных дней, началом удивительного двухнедельного бабьего лета, второго в том году, одного, видно, сентябрьского, осени не хватило. Вот какую погоду привез ко мне из города Иван!

Весь день я гонялся по логу за рябками, радуясь не столько удачной охоте, сколько в первую очередь каждому своему выстрелу, которым я как бы переключался, переговаривался с Иваном, посылая ему весты: знай, мол, наших, мы тоже, мол, не лыком шиты, не одним хариушатникам никак везение улыбается. Я знал, что Иван хорошо слышит меня, выстрелы были резки и громки, до звона в ушах, свободно и легко неслись они над неподвижным, безветренным лесом.

Вечером, перед закатом, я выбрался на трассу и пошел в поселок, идти обратно далеко, лучше это засветло сделать. Иван это тоже знает, тоже уж, наверное, выбрался из лога.

Но, пройдя по трассе до просеки, где надо было сворачивать, я не обнаружил следов Ивана. Тропинка обочь трассы была выцукла, оплавлена и заглажена дождями, никто по ней не ходил давно, давала четкие отпечатки сапог, особенно на бестравной глине, и следы Ивана я бы обязательно заметил. Значит, выбачит еще, дорвался, никак не может расстаться с речкой.

Я сел на поваленную осину и стал ждать, чтобы Иван не проскочил просеку, а то, поди, позабыл о моем наказе. Шальной ведь от хариусов. Да и веселее шагать вдвоем. А Иван к тому же еще и гость, негоже оставлять его одного.

Лес погружался в серость и тенистость сумерек, красные солнечные лучи уже лишь скользили по макушкам деревьев, не согревая ничего, не проникая никуда в глубь. У земли скапливался холод, обещающий ясную, звездную ночь и белый, сверкающий в инее, утренник. Казалось, что тепло, накопленное землей за день, высасывает из нее небо, высасывает и без следов растворяет в себе, в своей бездонной, нежно и невинно поголубевшей выси.

Лес затанцевал, приполз, готовясь к ночной стужености. Ни звука, ни шороха кругом. Все рано попряталось на ночлег, устало от длинного, яркого, от зорьки до зорьки, дня. В другой бы, не такой ошеленный день, рябчики бы еще кормились, звонко бы перепархивали в березняках и осинниках, а сегодня быстро сморились — налезали, налетались всыть при солнце. Даже не просветит нигде могучими крыльями отшельник-глухарь, вечерами они обычно тянут над лесом в любимые свои места кормежек, в сосняковые посадки.

Наконец послышались шаги.

Иван торопился, то ли намереваясь меня догнать (следы мои на трассе он, конечно, видел), то ли стараясь пройти как можно дальше до ночной темени. Правда, крошечной тьмы, как вчера, сегодня не ожидалось: и звезды будут светить, и месяц вон пухлый, перерастающий в луну, покажется, всплыв незаметно и вкрадливо, круто и неудержимо разгораясь.

— Стой, — сказал я тихою Ивану, поравнявшемуся со мной. — Жизнь или хариусы!

Иван несколько не испугался, точно ждал моего оклика, он так был переполнен чем-то, так сосредоточен, что не сразу и остановился, подобно глухому и слепому.

— А, рябчатник, — отрешенно как-то сказал он. Однако уже в следующую секунду лицо его разом преобразилось. Что в нем было? Счастье, восторг, детское удивление перед миром? Не знаю. Все вместе, вероятно. Речка с ним чудо сотворила. Таким я Ивана видел, во всяком случае, впервые. — Хотите, отгадаю, сколько ты рябков нащмадал?

— Ну-ка, попробуй.

— Значит, так... — начал подсчет Иван. — Два раза ты отгулел, скорее всего влёт стрелял... смазал, скорее всего. В летящего, юркого рябка не так-то просто попасть, а?.. Смазал? Признавайся!

— Признаюсь.

— Отлично! — продолжал с воодушевлением Иван. — Один

раз... нет, тоже два — ты заряд за зарядом выпустил, подравков, очевидно, добивал. И три было верных выстрела. Итого, стало быть, пять рябков. Правильно?

— Правильно.

— Во! — победно ляквал Иван. — Ты у меня все время на слуху был!.. А теперь отгадай про мой улов!

— Ну, где мне... Ведь ты не стрелял, не бил в литавры после каждого пойманного хариуса.

— Верно, не бил. — Иван снял и развязал рюкзак, на дне которого струисто заблестела, запереливалась рыба.

— Ого! — удивился я. — На развод-то хоть оставил? Или всех выдергал?

— Оставил, оставил... Я даже отпуская маленьких! Я даже и пообедать позабыл за этой рыбалкой! — Он достал из бокового кармана рюкзака газетный сверток с нехитрой, прихваченной на обед едой: хлебом, картошкой вареной, огурцами и помидорами. — Подкрепимся давай!

И мы с ним уютно, хорошо посидели на поваленной осине, будто нам никуда и спешить не надо было. Успелось, ничего, дойдем и при месячном свете. Вieras вон по какой темени шли.

— Что приамурский хариус? Он там, поди, на голый крючок кидается, — говорил Иван. — Нет, ты его в наших, уральских речках поймай. И не в таких, положим, как Вишера или Березовая, а в маленьких речках, лесных, неприметных, где хариус все видит, где он хитрющий из хитрющих, профессор, а не хариус. Попробуй-ка обманя его, выдерни из-под коряги... Ну, речка! Ну, спасибо тебе, удружил! Давненько из так от души не рыбачил!.. А в следующую раз должно быть еще удачнее, ведь я уже познакомился, на ты с ней, с речкой-то, в каждой омуток заглянул!

В следующий раз Иван попал в Красный Маяк только уже весной. Попал один, меня задержала в городе какая-то срочная работа. Я дал Ивану ключи от домика, и он поехал.

Рыбалка у него опять получилась отличная. Речку он прошел до самых почти истоков, во всяком случае, до тех мест, куда поднимается хариус. Много повидал в эту свою вылазку: видел шальной от весенних ухаживаний и драчек рябков-петушков, рябчики уж вроде на яйцах сидели, видел лису, шнырявшую у воды, ливнящую, облезлую, показавшуюся ему хилой и маленькой, видел медведя, тоже в линьке, в грязной, неприбранной, клочковатой шерсти, голодного, рывающего и опасного после берложной спячки.

Рыбачил он с ночевкой. Ночь перебыл в теплушке-вагончике, на пастбищных полянах, атом там пасут колхозных телят. Рас-



Иван Лепин

кочегарил, как он рассказывал, железную печку, подсушил солому на нарах и всю ночь глаз не сомкнул, лежал, слушал весну, ее любовные хороводные песни: сумасшедшее щелканье соловья, хорканье тянущих вальдшнепов на обеих зорьках, струнное дзыганье токующих бекасов, булькающее бормотанье диких голубей. Чем только не полна майская, лесная, взбудораженная ночь! А потом Иван досыпал, а вернее, отсыпался уже наруже, возле вагончика, на солнышке, постелив под себя какие-то доски, чтобы не простудиться на холодной земле.

Он посвежел за эти два дня, хватил на лицо быстрого весеннего загара. Опять он восторженно, неумно отзывается о речке, более буйной и сильной в наводок, опять воздал ей достойную хвалу и славу, да пребудет она во веки веков!

— А я там еще одну речку знаю, — сказал я ему. — Это в другой стороне от поселка. Эта, пожалуй, еще побойчее будет. Да и хариус в ней вроде крупнее.

— Да ну-у?! — и радостно, и недоверчиво выдохнул Иван. — Что ж ты молчал-то? Почему сразу ничего не сказал?.. Ну, теперь я с тебя не слезу, теперь я тебе покоя не дам!

И он действительно часто напоминал мне об этой новой речке, все собирався приехать, отвести душу. Напоминал он мне про нее и в начале своей неожиданной болезни, когда еще ничего неизвестно было, когда еще никто и предположить не мог, что судьба так жестоко и несправедливо обойдется с ним.

Нет сейчас этой речки, Иван, черны, маслянисты берега ее, глухо заилено дно, так что и крупного темного гольша не различишь, мутна и страшна на вид вода, с жирными радужными пятнами, смыывающимися то и дело по ней. Не всплеснет нигде хариус, не забредет сохатый напиться. Это в наши края припла большая нефтеедыча, большая беда для леса, для речушек малых, начала, истоков не только водных, а и людской чистоты истоков.

ОБРАЩЕНИЕ К ПЕРМИ

Я не здешнего замеса?
Южный говор мой смешон?
Может,
ты и есть то место,
что искал я
и нашел.

Тыща триста пермских улиц
в доказательство тому
неспроста ведь протянулись
прямо к сердцу моему.

Скоро два десятилетия
я тут преданно живу,
пью лесной целебный ветер,
мну уральскую траву.

Я смотрю, смотрю на Каму,
что манит,
волной рябя.
Так неброско любят маму.
Можно мамой звать тебя?

АПРЕЛЬ

Еще под забором снежок.
Но глянь-ка:
проворно
и живо
его уже снизу прожег
росток
розоватой крапивы.

Прекрасна апрельская прель
листвы —
ее яростный запах.
Скворчиную слушает трель
медведь на ослабнувших лапах.

Поля аж до солнца парят,
черны уже,
греются в неге.
То вскрик пролетающих крякв,
то скрип поржавевшей телеги.

Апрель!
Вдохновеннее нет
поры этой дивной в природе,
когда льнет к ногам первоцвет
и в космос впервые уходят.



ВТОРОЙ РАЗДЕЛ ПРЕДОСТАВЛЕН МОЛОДЫМ АВТОРАМ И ТЕМ ЛИТЕРАТОРАМ, КОТОРЫЕ, НЕ ОСТАВЛЯЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИИ, В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ УЧАСТВУЮТ В РАБОТЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИ МЕСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ, ПУБЛИКУЮТСЯ В ПЕРИОДИКЕ, В КОЛЛЕКТИВНЫХ СБОРНИКАХ, ИЗДАЛИ ИЛИ ГОТОВЯТ К ИЗДАНИЮ ПЕРВЫЕ КНИГИ. СРЕДИ АВТОРОВ ВТОРОГО РАЗДЕЛА СБОРНИКА — РАБОЧИЕ Н. БУРАШНИКОВ, С. МАЛЫШЕВ, Ю. МАРКОВ, И. ТЮЛЕНЕВ; УЧИТЕЛЬ В. ВОЗЖЕННИКОВ, ГЕОЛОГ С. ВАКСМАН, ИНЖЕНЕРЫ А. МЕРКУШЕВ, И. МУРАТОВ, БИБЛИОТЕКАРЬ Н. ГОРЛАНОВА, КУЛЬТРАБОТНИКИ Ф. ВОСТРИКОВ, Н. СУББОТИНА; ЖУРНАЛИСТЫ Ю. БЕЛИКОВ, Н. КИПЕВ, А. КЛЕНОВ, М. КРАШЕНИННИКОВА, В. ПИРОЖНИКОВ, Д. РИЗОВ, С. ТУПИЦЫН, М. ШАЛАМОВ; РАБОТНИК СВЯЗИ Г. ДРОБИНИНА, РЕДАКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА Ф. ИСТОМИН, СТУДЕНТКА ЛИТИНСТИТУТА Г. БАЧЕВА.

ВО ВТОРОМ РАЗДЕЛЕ
СБОРНИКА ЧИТАЙТЕ

...Казалось, что она, Ве-
ра, была с Алексеем
только раз, только один
вечер, только одна встре-
ча была — внезапная,
краткая и яркая...

...Ведь самые великие
маршруты
На перекрестке двух
сердец сошлись.
До трех берез — всего-то
три минуты,
А можно не дойти
до них всю жизнь.

...Тут парень какой-то ки-
нулся, толкнул Антона.
Антон отлетел в сторону,
ударился головой и поте-
рял сознание...

...Падера —
значит метель,
Падера — значит лететь,
падать и подниматься...

— ...Я хотела губы на-
красить, я ведь тоже че-
ловек!
— Не человек! — она при-
топывает ногой.
— А кто?
— Мама!..

...Кабы в стирке мой —
не рубашка твоя,
наклонилась бы я —
надломилась бы я.
А рубашку твою
белоснежную
Не стирала я —
миловала я...

...Мы поняли, что Пронь-
ка посылал нас в глубь
веков, когда Ивану Кар-
ловичу выпало присутст-
вовать на заклании Гая
Юлия Цезаря...

Нет, это не сродни
наитью рудознатца,
Что с ивовой лозой
отыскивает клад.
Не ветка здесь, а куст,
уоставший осыпаться,
Чьи ветви, как одна,
трепещут и шумят...

...Пришло время думать,
как приостановить про-
цесс умирания лесных по-
селков, уже начавшийся
процесс распада (из-за
отъезда людей) самой ле-
созаготовительной отрас-
ли...

...А зверь, и дерево,
и птица
в свой миг,
в назначенный
свой час —
все на земле к добру
родится
до нас, при нас
и после нас...

...Читатели живут в слож-
ном, парадоксальном,
противоречивом мире
Эйнштейна, а писатель
порой мыслит и изобра-
жает мир по Копернику...

Стоит ввысь посмотреть,
и глаза
На мгновение ослепнут
от света.
Поначалу займет
стрекоза,
А потом —
непрременно планета...



Валерий Возженников

ГРУЗОВИК

Ты — в годах
и малость поковеркан,
Но идешь, подъемы не кляня.
Дай-ка, почешу тебя
за дверкой,
Как за ухом верного коня.
Подыши цветами луговыми
И попей воды из родника.
Обошли с тобой нас легковые,
А дорога — вовсе не легка.
Погоди,
и мы с тобою тронем,
Нам ведь надо
груз доставить
в срок.
И еще, как прежде,
на обгоне
Загорится левый огонек!

* * *

По урочищам
изрытым и некошеным,
В даль за детство,
на ту сторону войны,
Все-то еду,
Все-то еду я на лошади.
Видно, время мне
такие видеть сны.
Тем же бродом проезжаю
ниже мельницы,
Те же кладбища миную.

А в полях
То ли копны,
то ли доты светятся?
Этот детский
и такой недетский страх!
Потрясаю пистолетом
лихо — накосю.
Кто поверит
в деревянный пистолет?
И до слез теперь
обидно мне и радостно,
Что в том времени
тебя, родная, нет.



Николай Кинев

ВОЗВРАЩАЛИСЬ СОЛДАТЫ...

Рассказ

1

Сашка не раз приходил домой в слезах: нацаны обзывали его пленным, а то и предателем. Особенно травила Петька Лукин. Вот вчера играли, и Сашку отпразднили все в войска то белых, то немцев, а в Красную Армию брать никто не хотел. И его войска проигрывали сражения, потому что не мог он стрелять в своих, не мог побеждать их.

Он много думал, Сашка, как восстановить отца и себя в глазах мальчишек.

Придумал.

Он стал врать. При всех ребятах он сказал Петьке: — Вы ничего еще не знаете. До поры до времени не велено было говорить. По закону! — твердо сказал Сашка, оглядывая недоверчивых сверстников своих, снежно-обледенелых, удалых... — К нам за отца орден пришел. — У Сашки захохотало внутри, когда он это сказал. — Из илена отец убежал. Потом он еще на фронте был. Он командовал катюшами! Его изранило всего! А награду нам прислали! — Сашке страшно сделалось: в нем появилась такая сила, злость и обида, что захотелось ему сейчас бить Петьку, всех их, всех!

— Врешь ты! Врун несчастный! — пропел ехидно Петька.

— Да где он, твой орден-то?

— Орден я вам покажу! Он дома в коробочке! — прокричал Сашка. — Только не трогать, нельзя! Я ее сам редко открываю!

— Ты его, поди, сам выстругал. Из бересты, — захохотал Петька.

— Нет. Настоящий орден. Орден Красного Знамени!

И он показал этот орден.

Не стал выносить его на улицу, потому что не утерпели бы ребята, вытащили, выхватили бы. Сашка задер сенишные двери на задвижку, закрыл изнутри окно, закрутил потуже тесемочку на гвоздике, поманил пальцем ребят в палисадник; они вытоптали завалинку, отпихивая друг друга от стекла.

Достал коробочку, вынул из нее орден и подставил к стеклу; держал очугупевшими пальцами, пока все не рассмотрелось; потом закрыл все три окна белыми простынными занавесками, чтоб вовсе не видно было, что он будет делать, и положил коробочку туда же, откуда взял, — в гоубец, под старую досочку, куда и мама бы не догадалась взглянуть; никогда там ничего ценного не лежало и лежать не могло.

Петька долго смотрел на орден, открыв красный рот, часто облизывая нижнюю губу, потом сказал:

— Чё ты?! Чё ты, Сано, раньше-то не сказывал?! Отдаю! Отдаю те, понял, командование корпусом хочешь!

И остальные загалдели, и когда Сашка, бледный от лжи и смелости, вышел на улицу, смотрели на него, как на приезжего, и вспоминали, чем и когда был Сашка хорош.

А орден этот Сашке нелегко и ненадолго достался. Дядя Афанасия был орден.

2

Дядя Афанасий, родной брат Сашкиного отца, Алексея Игнатьевича, был шофером — и с войны вернулся на машине. Остановился возле родного дома, постоял-постоял, посмотрел на палисадник, заросший малиной, и не в дом пошел, из которого к нему жена Ксенья бросилась, а в кузов залез, ввалил на плечи тяжелый мешок и тогда уж направился в ворота, настежь растворенные Ксеньей.

— Трофей несу, Ксюта, — сказал он так, будто не четыре года в даях далеких был, а только что вышел из дому и вот сразу обратно пришел.

Ксенья липла к нему, тонкими девичьими пальцами скреблась о пуговицы круглые, желтые, с пятиконечными звездами посередке, а он — мешок на крыльцо да обротно к кузову: таскать швейную машинку, самозар, ко-

робки неизвестно с чем... Соседки собрались, переговаривались:

— Вот уж проворный мужик так проворный и есть. До войны все к дому ладил, к себе, и сейчас вот цел вернулся— да не гол, а с богатством. Ксенья теперь добра на два века хватит.

Работать дядя Афанасий устроился на маслозавод — шофером же. Маслозаводская машина ему пользу принесла: он на ней и сено себе, и дрова себе. И пакты с маслозавода урвет, и сыворотки. Для своего дома он живота не жалел: все ремонтировал, пристраивал, перекрашивал простежки, чулки, баню, крышу... Надсажался до рези, до каменности в пояснице, до подсакивания пальцев; ел много, спал мало, но без снов, молодечки. И обычно был в хорошем расположении духа: доволен собой был. Выпрыгался он из оглобли, вышибало его из колен только тогда, когда — случайно, не случайно ли — уходило у него из рук то, что предполагал он захватить. В таких случаях дядя Афанасий подсыжал к чайной, заходил в нее угрюмо, коротенький и тяжелей, и напивался жестоко. А потом дома, приведенный товарищами по гаражу, всю ночь пел бессловесные песни, начиная с глухих низов и доходя до потешного дисканта. Ксенья беззвучно плакала. Но по утрам после пьянки Афанасий вставал, много, несчастливо ел и шел на работу. Тяжелого похмелья он не знал.

Орден у дяди Афанасия был и медаль тоже была. Он любил показывать эти награды родным, домочадцам и просто гостям.

У пьяного дяди Афанасия и выпросил Сашка орден: «не навоево, памаленько».

— Я его перерисую, орден-то. Нам в школе велели ордена рисовать, — сказал Сашка.

Дядя долго сидел, думал, возложив руки на живот и крутовертя большими пальцами.

— Ладно. Беру. Срисовывай. Раз в школе велено. Это у вас уважение к наградам воспитывают. Правильно. Да-а. Нелегко они доставались — награды. Надо было честно воевать, и — не... не щадя жизни! Что ж тебе отец такой вот памяти не оставил? Не оставил. Ослабил меня и всю родню. Беру уж. Только не давай никому! И не потеряй! Потеряешь — башку оторву. Хоть ты мне и илемянник, а орден — дороже. Понял?

— Понял, — отвечал красный Сашка.

Он понимал, что такое дядин орден. Нес его домой в кулаке, сжав пальцы до побеления. И пальцы в пальцах горячо токал — как после ожога.

Сашка, ясное дело, перерисовал его, двумя карандашами: простым и химическим фиолетовым — цветных не было, и всю восторженную расцветку ордена было не передать.

А главное — ребятам доказал. Доказал... Обманом. И одиноким, загнанным вглубь убеждением, что он, Сашка, прав, что отец достоин ордена...

3

Сашка тайне верил, что вот придет отец, выручит, наконец, вызволит из этого стыда перед сверстниками, всем докажет, какой у Сашки папка. Не может он не выручить, не спасти! Потому, что Сашка, будь он на месте отца, обязательно вызволил бы. Как-нибудь да! Сашка был уверен, что тятя все о нем знает, все видит, что он постоянно рядом, и только вот отец долго не объявляется вочью. И потому всегда, когда Сашка потупал против совести, когда шел даже на маленький обман, оштаривала мысль, что отец молча укоряет его. И когда Сашка у дяди Афанасия орден выпросил, — обожгло, но отказаться от своего обмана Сашка не мог. С мамой бы посоветоваться и насчет ордена, и насчет всего. Да ведь она сразу бы отругала, а на ребят бы рукой махнула: что ей игры, все эти «немцы» да «красные»...

А мать вот ни настоящечно не верила, что мог отец слатся немцу добровольно.

Алексей Игнатьевич был мужик двухметровый, будто не плечи на себе носил, а коромысло. Руки у него были громадные, широченные — потому и складывал их на коленях ладошка к ладошке, когда фотографировался: ему казалось, что для карточки они будут конфузом. Зато в жизни приносили радости! И любил у него был огромный, нависший над лицом, а глядел Алексей Игнатьевич исподлобья, но добродушно. Он был кузнец, скорый и легкий на тяжелую работу; в колхозе на него нарадоваться не могли.

Из-за его неусветной силушки к нему относились как к человеку из сказки, как к богатырю. Тем более, что был он с пригудами. Любил, например, на трубе играть...

Когда раскулачили богача Игнатия Партина, то вместе с другими, понятными музыкальными инструментами в его доме была обнаружена труба — и конфискована, поскольку была изгибунета и блестяща. Серебро!.. Труба ни одному хозяйству не пригодилась, в районе также от нее отказались, и лежала она до поры до времени в сельсоветском шкафу под замком.

Когда сельсовет ремонтировали, Алексей Игнатьевич был тут незаменимым человеком; золотые руки его умели и плотничать, и столярничать, и печи класть.. И вот он обнаружил эту трубу, схватил ее, глянул, выклявчил у председателя и унес домой. Отскоблал кой-какую окись-прозелень, отгнетил изгибы бархоткой до зеркального сверканья и по вечерам, руки от кузнечной копоти отмыв, играл на этой трубе все, что знали его песенная душа; и «Вихри враждебные», и «Семейную», и «Среди долины ровныя», и «Подгорную». Короче, возвращавшиеся с пастьбы, возле кузнецова дома останавливались и долго стояли вкопаяно, и соседки без толку пытались лицами загнать их в родимые хлевушки, бегали вокруг кузнецова цалисадника, ругались всякая по-своему, пока Алексей Игнатьевич, сдвинув брови, а глазами хохоча по-мальнишески, не кончал трубить подземно.

Мужики тоже недоумевали, как это серьезный человек, першостатейный кузнец, блажью занимается, как дите все равно, — приходили к Алексею Игнатьевичу, заговаривали про кузницу, про колхозные дела, и он серьезно, попросту беседовал с пришедшим, но стоило только гостю недовольно напомнить про трубу, как отец привставал с завалинки и говорил: «Ну-кась, сосед, подвинься маленько, я ведь собирался завалинку починить». Так мужики и уходили — не освобожденные от трубы. Мать, беременная Сашкой, сидела на крылечке, улыбалась вслед соседу, и тот видел это, и потому в деревне все так считали: «Оба они заодно». Правильно считали.

Однако просмешки насчет трубы скоро кончились.

Перед самой войной умер колхозный бригадир Григорий Золя, коммунист, первый тракторист в деревне, полюбивший «свое железо», как говаривала жена его Настасья, больше матери родной, больше жены, больше детей. Надо, не надо — все он был возле машины. Дневал и почевал с ними. Осенью домой десяток меш-

ков зерна привезет, очередную грамоту на стенку теслом приклеит — и опять к железу. Он организовал тракторную бригаду, помешался на машинах на своих. А незадолго перед смертью мужики стали подшучивать над ним: «Всем хорош Григорий, только часто по нужде ходит». А он и в самом деле на минуточку другую стал отлучаться от тракторов, только не по той нужде, над которой смеялись. Прибежит Григорий в лес, уткнет брюхо в пень, сдавит желудок, испугается боль, притупеет.. И опять, побелевший, с враз почерневшими веслушками, идет Григорий к трактору. Когда убежать, скрыться было некуда, он делал перекур, садился, скорчившись, и смодил без роздыху одну «козью пожку» за другой. Чем ближе к концу, тем чаще были эти перекуры.. А тут ночью пришел домой, поел, лег, задремал — и закричал резаным голосом. Настасья — бежать к фельдшернице, Клавдии Степановне.. Пришли — а он лежит посреде полу, вытянувшись в струнку, пальцы в половик вцепились, не разжать их..

Работал Григорий всю жизнь. Всю жизнь хотел, чтоб деревянная деревня стала железной. А сам он железным не был. Его полемить бы маленько, хоть силой!.. Когда умер, такие разговоры пошли: «Вот она, смертушка. Доробился. Надсады признать не хотел». — «Больно жадной был. Зерна-то боле всех себе привозил». — «Не скажи! Не об зерне он думал — о тракторах о своих». Говорили, жалели, заботились в Григорий-покойнике. Старухи-богомолки ему, коммунисту, бумажных цветов навидеывали, Алексей Игнатьевич выковал пятиконечную звезду.. Духовой оркестр вызвали.

Оркестранты прибыли в Красный Ключ, заблаговременно разогревшись. Дирижером был как раз трубач, слезливый, поминутно кашлявший старик с серыми мочальными волосами, в галлифе с заплатами.

К выносу гроба музыканты плохо держались на ногах. Старик трубач сидел на завалинке, вытирал рукавом серой толстовки слезы, дивившиеся у него просто так, самоотком, и все требовал: «Не выносите пока. Дай охолохну». Тогда Алексей Игнатьевич, бледный, подошел к старику, долго рядился с ним, рассказывая про армейский оркестр, в котором играл, обращался за содействием к односельчанам, но те ведь не знали, что он умел не только коров завораживать. «Ну, попробуй, к выносу», — смахнул слезу старик. Алексей Игнатьевич

широкими шагами сходил домой, принес свою трубу...

И сверкающая, возрожденная труба зазвучала с такой скорбью, с такой значительностью, что сковфузились оркестранты, вспомнили настоящую, неподдельную игру, встали поближе друг к другу: ударило и их, привыкших к похоронам, по сердцам чужое горе. И все ключевские от музыки этой поняли, интуитивно чувствовали, что ведь на самом деле номер Григорий, он не выйдет к ним больше никогда из своего, из чужого ли дома, и трактора его застыли сейчас в отряде, мучаясь оттого, что они не умрут плакать.

Старухи, пережившие на веку десятки смертей, выплакавшие на давно прошедших похоронах свои сердца, шли впереди процессии, бросали на Сибирский тракт пихтовые лапки, мякни, бархатно-зеленые, плакали уж больше для порядка: им нельзя было выплакивать остатки души, без которой жить и на этом свете невозможно... Но и они замерли, почернели, согнулись вдвое, когда Алексей Игнатьевич, не обращая внимания на замечательство оркестрантов, заиграл с той трубной громкостью, которая разве только на страшном суде мыслима: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Эта песня была по отношению к Григорию естественной правдой. И не только потому, что он на гражданской восвал, что коммунистом был — из тех, которые на свои плечи чужую ношу берут, а и потому, что труба Алексеева взывала с нетерпением, с требовательностью к самому Григорию: встань, встань, встань, превозмощи смерть, ты не должен уходить, ты так нужен здесь, здесь... больше, чем там. Кто знает, что будет с нами впереди, — может, небывалые испытания, которых Россия еще не переживала, — без тебя колхозу ой как плохо, ой как плохо будет!

На другой день с тяжелым сердцем шел из кузницы на обед Алексей Игнатьевич — но есть он хотел, Веру увидеть, возле нее побывать.

И тут его окликнул брат Григория Золина, Данила, колхозный пастух.

— Гляди-кась, Олеша! — Данила бойко выскочил из своего двора, выюркивал глазами из-под соломенного цвета ресниц. — Сидишь. — Он присел на завалинку и туда же Алексея Игнатьевича звал. — А? Гляди-кась: брат-от у меня за партию номер, а тебе хоть бы что.

— Что это ты, Данила, говоришь? удивился Алексей Игнатьевич.

— А как ино? — тоже вроде бы удивлен был Данила. — Гриша в партию был, меня туда же приняли, все хорошие мужики в партию идут. Фершал наш, Клавдя, в партию. А ты не просишься в партию. А вчера вон как играл! Спасибо тебе.

— Ты, Данило, подожди. Отодвинься маленько... и твою завалинку погляжу. Точно и есть — она починок требует.

— Тебя вот по всех мест в нашей ячейке надо! — не слушая гостя Данила. — За тебя все руку подымут. Григорий у нас... выбыл. Вот бы ты вместо него...

Так Алексей Игнатьевич стал коммунистом. Афанасия Игнатьевича тоже знали в партакчейку, он сошелся на неграмотность и — что недостойно.

С тем оба и ушли на войну.

...Что мог думать Сашка о своем отце? Кому должен был верить?

Матери он верил. Рассказам об отце. Фотографиям. Письмам с фронта. Своему сердцу.

Не знал Сашка однего обетоятельства: мать ему об этом не говорила...

4

Однажды матери пришел треугольник адрес чужою рукою выведен.

Долго не разворачивала она его: боялась, от минутки к минутке отводила недобрую — она чувствовала, недобрую — весть. Сухо-насухо протерла столешницу, все убрала с нее, положила треугольник на самый краешек. Налила Сашке кружку козьего молока, дала ему горбушку (он на кухне сидел, письма не видел), затем достала из сундука все Алексеевы письма, сложила их стопочкой, взялась было перечитывать верхнее, самое давнее, потом не выдержала, распечатала треугольник. Концы его смерти вспорхнули, как крылья желтой птицы. Прочитала глазами, не разжимая губ, чтоб Сашка не слышал и чтоб самой не повторять вслух написанное:

«Добрый день а может вечер уважаемая Вера и ваш сынок. Пишет вам Иван Савелов, друг Алексея. Пишу вам по его просьбе. Мы вместе попали в плен. Он

был тяжело ранен, умирал и все говорила про вас потом нас поместили в разные бараки. Я тоже был немало поцарапан ну вскоре мне удалось оделать побег и попал я к партизанам. Не знаю удалось или нет Алексею выжить если нет дак потерял хорошего друга мы с ним все делили пополам, Извините за письмо что сообщая вам такое несчастье ну Алексей просил. На этом писать кончаю к чему травить душу. Иван».

Прочитала это мать — и сразу то, что ежедневно, ежедневно терзало ее, вдруг перестало двигаться внутри, вдруг окаменело все. Сердце будто оторвалось и недвижимым стало, а ведь ему еще надо было жить — без опоры... и кровь стала протвердевшей, тяжелой.

Мать давно выплакала слезы. Циволочки слезами были выстираны... И сейчас, когда получила письмо, она не могла плакать. Было туно от этого, мать улыбалась дурашливо. Она сидела молча, Знобило, шалюшка не грела. Смотрела на Сашку, который пил молоко, на зыбку, в которой давно леи он, сынишка, лежал-качался (его еще Алексей ублаживал), смотрела — и никак не могла вспомнить, когда больней всего екнуло ее сердце. Когда умирал Алексей. Неужели она не почувствовала? Ведь он думал бы о ней, умирая, не могло быть иначе, вот и друг так в письме написал, он разговаривал бы с ней, прощался бы, молодость их вспоминал... почему же она не поехала — когда? Она бы ему слова добрые сказала, простилась с ним тихо и ласково, чтобы легче ему было умереть, чтоб знал, что жалеют его, никогда не забудут и верят, что он не был виноват перед родимой стороной. Но нет, не помнит Вера, когда больней всего, жгучей всего болела душа. Может, жив?!

«Может, жив. Что в письму был — людям скажу, а что умирал — не скажу. Может, жив, — решила мать в ту минуту. — Я же не почувала, что он помер, знала только, что худо ему».

Когда к Сашке большая опасность приходила — мать чувствовала это сразу. То ли потому, что сын ближе, рядом был, то ли потому, что сердце матери прозорливей, чем сердце жены, хотя это и одно сердце... Что горше беспомощности, когда любимые люди твои, кровинки твои погибают, а ты ничем не можешь им пособить, не можешь выручить! Всю бы себя по кусочкам раздала кому хочешь, пусть последнюю кровь бы вы-

неживали из тебя, пусть бы казнили, душили, живой в землю зарыли, только жили бы они, родные, незаменимые! Отчего не так устроена жизнь, чтоб себя можно было отдавать взамен других? Алексей — неужели не заслужил жизни на воле, — не он ли в кузнице надеялся, грудь под пули подставлял... Посмотри, смерть, мучительница белая, скелет твой, как под луной, светится... посмотри, смерть, какая трава черная под окном стала расти, какая роса мерзкая, скользкая на листья той травы заползают!.

Казалось, что она, Вера, была с Алексеем только раз, только один вечер, только одна встреча была — внезапная, краткая и яркая, и, одевив ее любовью, он ушел и не приходил уж больше, и ей теперь остается эта длинная, оскорбительно, неносильно длинная жизнь, которую ни сократить, ни прервать нельзя.

Сашка. Глаза одинаковые у отца и сына, сердце одинаковые; мот бы судьбы разные были!

Мать жила теперь ради Сашки. Она удивлялась тому, что не умерла от горя — отца похоронила, мать похоронила, двочку годовалую, умершую от дифтерита, теперь про Алексея вот какое письмо... — что не все разорвалось еще в ней, что вот живет же она, двигается, зарабатывает себе и сыну на хлеб. И она теперь молила судьбу, чтоб та смилостивилась, дала еще походить по земле, поставить на ноги сына, оградить от раннего зла.

А если бы не было Сашки — не перенесла бы этой жизни. Растила его она, а поддерживала в ней жизнь — он.

Была праздничная вечеринка. У дяди Афанасия собрались маломальские гости — несколько родичей, начальство с маслозавода. И мать Сашки была позвана — помочь Ксенье стряпать. И Сашка там был, сидел на кухне, поглядывал на двоюродных сестреноч, вслушивался в застолье. Говорил все больше дядя Афанасий, и его слушали. На столе стояли немецкий пузатый приглушенно-белый графин с красными срезами по бокам, разные хрустальные рюмки. Густо пахло жареным гусем.

— Да, много нашей крови пролито на войне. Нашего брата полегло. Помню, под Кисвом привез я подполковника в одну часть. Да-а. Умаланы там ребята, из боя — в бой. Устали, да-а. Провизии нет, беззапасы кончились, ждут подкрепления. Но наступать-то падо? Падо, товарищи дорогие? На-а-до! Падо! Можешь, не можешь, а война. Ну, мой подполковник, — дядя Афанасий заговорил тихо, — собирает офицеров: «Кто из вас коммунисты?» Почти что все. Поднял ведь их, разъярил. А как же, товарищи? Раз коммунист — ты иди на смерть, понимаешь, не задумываясь. А то ведь, па коммунистов глядя, и мы, беспартийные, можем размякнуть. А, товарищи? Вы гуся, гуся берите. Ксения у меня мастерица жареных гусей готовить. Мастерица, да-а. Люблю. Во-от. — Дядя Афанасий сидел мокрый, раскрасневшийся, крутил большими пальцами. — Быть партейным — это дело ответственное. Тут необходимо дорасти. Я вот честно признаюсь: не дорос. Цеграмотен. Не успел, понимаешь, выучиться. Не до того было. Работать нужно было, вос... восстанавливать деревню, да-а. Вы едите гуся. И наливочки паливайте. Па смородине. Ксения у меня любо-дорого изладит.

— Само собой, Игнатий!

— А наше дело шоферское. Сказали — вези, я везу. А как же? Небось знает начальник, куда везти, раз говорит... Он за это дело отвечает. Партейный — и звание. Знай всяк свое место. Вот у меня брат был, знаете, Алексей. Сейчас Вере одной перебиваться приходится, а мне ей — помогать. А как... родня! Был кузнец — пошел в коммунисты. А нашто? Был бы беспартийным. — может, там, в плену-то, жив бы остался?

— Кто ж их там знает.

— Алексей был мужик простой. Худого про него сказать нельзя.

— Ведь как он тогда на похоронах у Гришки Золдина играл! На трубе!

— На трубе-е! — дядя Афанасий вроде рассердился. — Вот и протрубил. А мы — живем. Живем-ом?

— Живем-поживаем. Да...

— И добра наживаем. Добра-а! Для детей. Для будущего. Что полезней-то для отечества — жить или помереть?

— Жить!

— От покойника что ж за польза. Жить!

— Да... А вот Григорий-то до нас бы дождал, снова бы его бригадиром... А Алексея бы — в кузницу.

— Ничаво-о! — усмехнулся дядя Афанасий. — Незаменимых нету. Вот молодежь подрастет. До коммунизму обязательно доживем. Мне охота дожить! Поглядеть, как все будет. Какис дома будут. Чем будут кормить.

На кухне плакала тихо Сашкина мать. Ксения утешала ее полушепотом:

— Не слушай ты его, Вера! Слышу он, слышу. И вот песет, и вот песет околесницу! Наговорит вот на свою шею. Ты не слушай! Проспится — человеком будет.

— Что у трезвого-то в голове, то у пьяного на языке. — всхлипывала мать. — Ведь братья они! Как же...

Сашка кусала губы;

— Мамка, пойдем домой. Мамка...

— Да как же, сынок? Позвали помочь. Чаю еще надо валить.

— Да сами нальют! Пойдем домой!

Голос Сашки был утешающим дядей Афанасием. Он сказал:

— Вот теперь и племянник у меня из-за этого дела страдает. Ну-ко, Сано, иди сюда!

Сашка вышел из-за шторы — бледный, тонкий, в белой праздничной рубашке с отложным воротничком. На ногах у него были новые тряпичные тапки.

— Ешь-ко давай, Сано, пирогу с малиной, — предложил дядя Афанасий. — Тебе на пользу идет, па раст. Ешь... — Дядя Афанасий рассмеялся, и его голубые навывкате глаза просияли, и тяжелые мешки под ними вроде полегчали. — Сирота ведь ты, Сано. Дурак был твой отец. Хоть и брат он мне, а дурак.

— Он живой, живой, он живой — отчаянно закричал Сашка.

Мать быстро вышла из кухни, села подле дяди Афанасия, сказала тихо, побурев лицом:

— Не один он пострадал. Не один в плен попал. Да если раненый был, свету белого не видел — вот и попал в плен.

— Ра-енный... — прищурился дядя Афанасий.

— Ты, Афанасий, тоже не всегда будешь жить. Когда-нибудь померешь. Наверно, до коммунизма! — какая нехорошая улыбка была сейчас у матери, какая не-

хорошая, страшная, кривая... — Помирать будемь — смотри, не вспомнилс бы тебе Алексей-то!

А на столе лежал соблазнительный кисло-сладенький пирог. А в Сашкином горле была только горькая сухота.

— Да ты не равняй, не равняй меня с Алексеем! — закричал дядя Афанасий, и гости закашляя, заотодвинулись от стола. — Я всю войну честно провоевал, в плен не сдавался! У меня награды... Вот я сейчас прилессу, покажу! Орден Красного Знамени есть! За так не дают! Я тогда сколько немцев-то порешил! Этот орден-то... — Дядя Афанасий залулся, потом резко повернулся к Сашке: — У тебя орден! Где он? Неси его сюда! Гостям хочу показать! И матери... матери твоей!

— Какой орден, Саша? — удивилась мать.

— Какой! Он знает — какой! — кричал дядя Афанасий. — Неси!

— Да куда же он — в такую-то темень? — кажется, поняла мать.

— Я... — Сашка заплакал, ему трудно было сказать то, что он решил сказать, но он пересилил себя и сквозь слезы выдал: — Я... его... и потерял я его!!!

— Че-е-го?! — Тяжеленный кулак дяди Афанасия вздрогнул.

Сашка ревел. Да пусть его убьют, здесь сейчас, заедят, расстреляют, а не отдаст он орден.

Не дяди Афанасия этот орден, а папкин, папкин, папкин!

Дядя Афанасий побелел, как снег, протрезвел и заговорил чужим голосом, странно прищепывая:

— Мне же жавтра... жавтра в президиум и ним. Жапишка была, што в президиум... — вскочил, схватил Сашку за уши, и Сашку ожгло с двух сторон, и ему показалось, что сейчас голова расщелкнется, и чем он тогда будет думать, слушать, видеть и говорить? Был вот этот страх, страх, ужас, а слезы перестали.

Гости с трудом оторвали дядю Афанасия от племянника, и Сашка в чем был выбежал на крыльцо, сунул голову в сугроб, снова его будто ошпарило.

Дядя Афанасий между тем рушил буйным кулаком все на столе, и гостей, кого придется, и подворачивающую под руку Ксенью... Вера выбежала из избы, крикнув:

— Припомнит тебе это судьба, Афанасий!

Мать обняла Сашку, и они медленно шли домой. Он все рассказал ей. Она долго молчала, думала. О том, что от Афанасия зависит сейчас ее жизнь, а Алексея нету рядом, чтоб заступиться. Когда Афанасия слезно попросишь, он помогает ведь: сена накопить, крышу починить, дров нарубить. Конечно, мать в долгу не оставалась: по огороду Ксенья помочь, выстирать белье, вымыть полы — все это она делала постоянно, шла к Афанасию из бригады как на вторую работу. А когда к Ксенье стали все чаще приходиться сердечные приступы, без помощи Веры ей тоже плохо приходилось.

Да неужели уж они без помощи Афанасия не проживут?! Вон и Сашка большой стал.

— Сама, орден надо отдать, сказала наконец мать.

— Не отдам я, не отдам, — сквозь слезы сказал Сашка. — Пусть он будет как папкин!

— Надо отдать, Саша. А то ведь Афанасий и в милицию может пожаловаться — у него сбудется. Да и не надо нам чужого. Может, папка больше заслужил. Мы не знаем. Вот ты подрастешь, станешь работать — и заслужишь за работу медаль или орден, и будет он и твой, и папкин. И всем докажешь. Да и люди видят, пусть там Афанасий в президиуме сидит... Люди видят, Мы не чужие здесь. Нас знают. А вдруг да папка жив и вернется к нам... А, Сашка?

Он молчал, хотел примирить свое отчаяние с материнской надеждой. Ему вдруг представилось: вот выходит из-за поворота большущий человек в гимнастерке, и на груди у него — орден, а за плечами — вещмешок. Он обнимает громадными руками то маму, то Сашку, потом достает из кармана ириску... Ириску потом Сашка высосет, потом! А сейчас перво-наперво они идут к дяде Афанасию, уж они докажут теперь, кому какая слава досталась!

За рекой пели частушки. Даже здесь, на дороге, были слышны притопывание и заикающаяся гармошка.

Павстречу Сашке и матери шел мужик. Поравнялись. Он уступил дорогу.

Это был Степан Луквин.

— Здорово, Вера! Здорово, Сано! С праздником! Я сегодня веселушой!

— У кого это за рекой-то так гуляют? — спросила мать.

— Да ты чё, не знала! У фершалицы Клавдии Степановны мужак домой пришел. После японской он онять в лазарете лежал, отутобей — и вот седни приехал, как раз к праздничку... Молодец! Клавдя отпуску выпросила три дня. Баба моя пирог им свой понесла. И я вот пошел — проздравить.

— Ой, как хорошо-то, как хорошо-то, — засмеялась мать — и в то же время заплакала. — Ты и от меня поздравь. От нас поздравь!

— Отсеки бабку — проздравлю. — сказал Степан и пошел дальше.

А мама крепко обняла Сашку:

— Ну вот, видишь... Возвращаются хорошие-то мужики! Правда-то все равно пересилит!



Сергей Малышев

И ЗАКАТЫ В ПОЛНЕБА...

Жизнь казалась картинкой
за зимним оконцем,
Только изредка
паром врывалась в избу.
Кувыркалось над лесом
лохматое солнце.
Колобком забиралась
луна на трубу.
А потом я услышал про дальние страны,
Объяснили мне таинство ночи и дня.
Черный обруч ближайшего меридиана...
Где-то, верно, под ним —
деревенька моя.
Не попали на глобус ни ветер, ни тразы,
Ни закаты в полнеба, ни шорох листья,
Ни тревожная память, ни вечная слава —
Звездный взлетobeliskов,
и просто кресты...

ПЕРЕД БОЕМ УЧЕБНЫМ

Перед боем учебным
у забытого дота
Мы вгрызаемся в землю —
комбат за спиной.
В полный профиль — окопы.
И — осколков без счета —
Позапрошлых и прошлых
нескончаемых войн.
В сорок третьем отец,
пришивая погонь,

К тебе прильнули стебли трав знакомых.
 На ветерке трехгранная осока
 Посвистывала голосочком странным,
 Черноголовник, вскинутый высоко,
 Пыльцу развеял облачком туманным,
 А дудники могучные рванулись
 И над тобой зонты свои раскрыли...
 Метельки дремы луговой согнулись
 Под тяжестью жуков бронзовокрылых
 И бабочек с кручеными усами.
 Трава скрипела, пела и жужжала...
 Свою косынку с горькими слезами
 Ты удивленно в кулаке зажала:
 Все двигалось под солнечным потоком,
 Под натиском живой подземной влаги,
 Трава целебным наполнялась соком,
 Взметнув свои серебряные флаги!
 Победные такие превращенья
 В тебе открыли новое дыханье.
 И юное до головокруженья
 Языческого солнца полыханье
 Глазам дарило новое свеченье.
 Наваety, злые сплетни ты простила,
 И сила непомерная цветенья
 Вдруг стала непомерной женской силой.



Нина Чернец обладала редким поэтическим даром. Одно из самых главных и ценных качеств ее поэзии — бескорыстие. В стихах отсутствует всякая преднамеренность, рассудочная заданность. Перед нами открытая, честная и чистая душа, сурово требовательная к себе, жившая с подлинной радостью и тревогой не за себя, а за людей.

Вся ее поэзия — от жизни, конкретной, обыденной и в то же время высокой. Эта естественная диалектичность восприятия и отображения мира и рождает в читателе желание думать, сопереживать, соотносить свой опыт с авторским.

Умение, вернее, способность превращать житейские факты в поэтические обобщения — свойство истинного творчества. Важно ведь не о чем пишется, а что утверждается. И о чем бы ни размышляла Н. Чернец, какие бы драматические и даже трагические ноты ни вырывались из ее души, изначальное в ней — как раз мужество, убежденность, что счастье — не в умении избежать горя, а в способности побеждать его.

Поэзия Нины Чернец, в сущности, монолог, в котором откровенно, глубоко и ответственно звучат вечные темы, размышления о судьбе, о смысле пребывания на земле.

Никак не уйдешь от горестного факта, что новых стихов Нина Чернец уже не напишет. Она предчувствовала:

«...Чует сердце разлуку, чует,
 а не хочется уходить...»

Она писала о подлинных, иногда неизлечимых ранах, но предостерегала, а не пугала, размышляла, а не мудрствовала. Все ее творчество — это победа человека, который не пожелал оставаться слабым, победа над всеми горестями, в том числе, как потом и оказалось, даже над смертью...

Л. ДАВЫДЫЧЕВ

* * *

Уйду далёко, упаду в траву.
Перед высоким небом онемею.
Так кто я есть? Так чем же я живу?
Коль не права — на что права имею?

Ни отступить, ни повернуть нельзя.
Придавит жизнь — не совладай-ка с нею.
Быть женщиной — нелегкая стезя.
Но быть любимой — вдвое мудренее.

Вот я сейчас со всеми — и ни с кем.
И, будто тяжесть страшную подьемлю,
толчками кровь колотится в виске
и стуки сердца проникают в землю.

Из прожитого не воротить дня.
И нужно ль это мне, скажи на милость?
Но лишь за то, что ты любил меня,
я б снова только женщиной родилась.

* * *

Почти угасли силы птичьи,
почти ослабли два крыла.
Зазря журавль потерю кличет —
синица руки заняла.

Живу себе, и горя мало,
что день прошел и сутки прочь.
Что я могу? Когда бы знала,
нашла бы, чем беде помочь.

Журавушка, не плачь, не сетуй.
Пусть не сегодня, не сейчас, —
я выпущу синицу эту,
напрасной ношей утомясь.

Утоптана стезя людская —
куда пойду? К чему вернусь?
И ты куда зовешь — не знаю.
Но я тянусь к тебе, тянусь.

Путь, что должна найти теперь я,
хоть перышком, да обозначь.
Жива, цела твоя потеря.
Уймись, журавушка, не плачь.

* * *

Покачнувшись на елке вихрастой,
белка глазом стрельнула — и ввысь.
Здравствуй, белка, и, елочка, здравствуй!
Ты не бойся меня, не колись.

Никакого не сделаю худа,
не пугайся, что я из людей.
Ты, наверно, погодкою будешь
непоседливой дочке моей?

Ничего, что тебе не родня я.
Ты живая, живая и я.
Сколько мам здесь тебя охраняют!
А которая будет твоя?

Чай, душой обмирает зеленой
за тебя где-то рядышком тут?
Вас метели январские клонят,
нас метели житейские гнут.

Но тревожной недоброй порою
от любых на земле январей
мамы — сильные, мамы — прикроют.
Вырастайте, дочурки, скорей!

* * *

Туман над полем и оврагом
просвечен солнцем. Воздух чист.
Все благо на земле, все благо —
и птица, и трава, и лист.

А мы при них живем и с ними.
И в ясный день и ввечеру
все благо на земле родимой,
все в ней нацелено к добру.

Но в том, что в нас болит и ноет,
виновен кто-нибудь? Вранье!
Мы со своей живем виною,
почти не чувствуя ее.

Почти всегда, а не порою,
на нас самих и замкнут круг.
И если мир не так устроен,
то это дело наших рук.

А зверь, и дерево, и птица
в свой миг, в назначенный свой час —
все на земле к добру родится
до нас, при нас и после нас.



Дмитрий Ризов

КРАПИВНЫЕ ОСТРОВА

Очерк

1

Взвинтились темпы перемещения и перемешивания человеческих масс на огромных территориях нашей страны. Бытовая необходимость, страсть к переменам мест, молодой задор, подкрепляемый посулами тех, кто производит оргнаборы, гонит людей в дорогу. Весело в дороге молодежи. Незаметно для глаза рвутся старые связи, исчезают старые привязанности, сужается сфера ответственности за место, в котором приходится жить переселенцу. Взамен, конечно, устанавливаются новые связи человека с окружением его на новом месте. Но тут приходит тревожная мысль: а будут ли эти новые связи, созданные без участия Родительского Дома, столь же прочны, как были старые? Не начнем ли мы мотаться в лихую погоду, как мотаются в шторм, разбивая борта о причал, неумелой рукой привязанные лодки?

Родительский Дом... Боль сердца нашего, радость наша, конкретная история нашей личной жизни, наша родовая биография... Вот что ты такое, Родительский Дом.

А что вы подумаете, если я скажу, что в нынешние дни существует целая отрасль промышленности, густо процвавшая всю страну от Камчатки до Карпат, которая пытается строить свое благополучие на основе регулярного уничтожения сошедших поселков, бесконечного перетасовывания людей, в ней работающих? Не верите в возможность такой нелепости? Тогда совершим небольшое путешествие хотя бы в поселок Кухтым. Это недалеко от Перми, туда электричка ходит.

Кухтым... Хорошо здесь место. Такой щедрой на цветение листв, как вокруг Кухтыма, нет, пожалуй, больше нигде в Пермской области. Любители пчеловодства, бывая в этих местах, только головами качали: «Такое богатство пропадает. Пчел бы сюда». Но в Кухтыме жили не пчеловоды, а лесозаготовители. Широкая гравийная дорога уходила в лес. Здесь же у железной дороги ниж-

ний склад. Тут лес крадут, грузят в вагоны, отправляют в разные края. Но все дальше отступал от поселка лес. Тайга редела, заполонил все вокруг кипрей. Появилась возможность пчелам брать теперь взятки все лето — и с кипрея, и с липы. И обосновался по соседству с лесозаготовителями пчеловодческий совхоз. Чем сильнее истощалась лесосырьевая база, тем шире распространялась медовая слава Кухтыма. К тому же больше место хорошеет: и приволье, и большой город рядом.

И вдруг на полном ходу будто споткнулся лесной поселок. Все в нем осталось как прежде: и жилье, и магазины, и школа, и клуб, и люди, а лес кончился. Отныне пчелы стали здесь безраздельными хозяевами. А люди? Работоспособных лесозаготовителей к моменту ликвидации лесопункта оказалось 152 человека. Куда их? Как быть с пенсионерами? Их тут 60 человек. Словом, пришла пора ликвидировать поселок. Казалось бы, чего проще: статут лесных поселков по всем документам, имеющим юридическую силу, временный, потому что они создаются липы, на срок ведения лесозаготовительных работ. Лес вырубят — поселок закрывается, люди переезжают на новое место работы и жительства, земля, на которой стоит поселок, должна рекультивироваться и перейти во владение ближайшего лесхоза, чтобы на этом месте он посадил лес. Так должно быть по писаным правилам. Но люди — не шахматные пешки, которые после проигрыша партии можно сложить в коробку и нести куда заблагорассудится. В жизни существуют свои, подчас неписанные правила, они порой крепче писаных уставов тех или иных отраслей промышленности.

Начнем, как говорится, сначала, обратим внимание: в теоретически узаконенной схеме, по которой должны ликвидироваться поселки лесозаготовителей, на первом месте стоит необходимость предоставления населению новой работы и нового жилья. Не будет осуществлена первая часть, невозможно будет сделать и все остальное. Как раз на этой-то закономерности и завязался тугой узел кухтымских проблем. Рабочим на выбор предложили леспромхозы объединения Пермеспром, которые могли бы их приять, трудоустроить и обеспечить жильем. А как быть с пенсионерами? И вообще, это сказать легко: решиться на переезд. Кто пробовал — тот знает, а кто не пробовал — лучше уж и не решаться...

Но у нас-то с вами, уважаемый читатель, есть свобода выбора: хотим — едем, хотим — нет, а у большинства кухтымцев такого выбора не было. Часть бывших лесозаготовителей, еще не вышедших на пенсию, поехала в предложенные леспромхозы на разведку. Другие обратились за работой в пчелосовхоз. Третьи пошли искать трудоустройства на железную дорогу. Семнадцать человек устроились в соседний Яринский лесопункт, который и сам на мадан

дышал. Нашлись и такие, что стали ездить на работу в Пермь, а это часа четыре пути в оба конца, да еще часы ожидания подходящей электрички, не считая дополнительных трат на билеты.

В конце концов с трудоустройством все утряслось. Поселок продолжал жить.

В Яринском поселковом Совете, которому подчиняется Кухтым, и попросил справку о социальной принадлежности нынешнего кухтымского населения, проживающего в домах Добрянского леспромхоза, бывшего хозяина лесопункта. Оказалось, что все живущие тут при деле. Правда — не лесозаготовительным. Поселковый Совет ведет счет населению не по домам, а по хозяйствам. Картина такая: в леспромхозовской части поселка 76 хозяйств. 32 из них принадлежат пенсионерам. Рабочих леспромхоза, которые ездят на работу в соседний Яринский лесопункт, всего девять. Остальные хозяйства принадлежат учителям, медицинским работникам, строителям, почтальонам, работникам орсга, железнодорожникам. Все они работают, из поселка уезжать не собираются. В школе-восьмилетке на время моего приезда в поселок из 74 учащихся ни у одного родители не работали в леспромхозе. А школу содержит леспромхоз. Помимо жилого фонда и школы леспромхоз содержал культурно-бытовые объекты. Только одних дров в прошлый отопительный сезон было привезено сюда из соседнего Ярина 1223 кубометра. Начальник Яринского лесопункта В. Титов руками разводил.

— Ума не приложу, что делать с Кухтымом? Как быть с ним дальше? На какие средства содержать?

Он показал мне ведомость предстоящих ремонтных работ, которые обязан был произвести здесь. Только одних печей в жилых домах требовалось переложить 25. А ремонт крыш, а перестилка потолков и полов... Да еще школа и клуб... И что характерно: средства на все это лесопункту не планировались, ведь Кухтым как производственная единица не существовал, а кто не работает, тот не ест. Яринский лесопункт тратил на поддержание умирающего поселка сколько мог, отрывая от своего и без того скудного бюджета ежегодно по 20 тысяч рублей. Средства ничтожные. Кухтым от года к году дряхлел, все больше писем с жалобами шло отсюда в различные инстанции.

Вот какой тугой узел противоречий завязался тут.

Куда бы я ни обращался — в леспромхоз, в Пермский облисполком, в бывший Минлеспром СССР, — все недоумевали, все не знали, что делать с поселком, как решать его судьбу. Казалось бы, чего проще — передать с баланса на баланс общественные постройки в те организации, чьи представители в поселке составляют большинство. Школу, например, железнодорожникам: большин-

его учащихся — их дети. Попытались. Направили в адрес главного управления учебных заведений Министерства путей сообщения письмо с предложением взять школу себе. Из министерства письмо ушло в управление Свердловской железной дороги и вернулось в Кухтым с резолюцией: железная дорога располагает достаточным количеством интернатов и школ, в которых все дети могут быть размещены в случае ликвидации кухтымской школы. Но это дети железнодорожников. А другие?

«В хорошую пору приехал я в Кухтым. В лесу цвели медуница, подснежники. Распускались черемуха, рябина. За многими оградками зеленец, голубели, белели копыльские ульи. Над поселком и над остатками окрестных лесов стояла тишина. Давно ушли из них лесозаготовители, падающие деревья не распугивали больше чела. Зарос травой бывший пижоний склад. Кухтым напоминал теперь дачный поселок. И действительно, потянулись сюда из Пермской пенсионеры-горожане, стали приобретать частные дома. О лесозаготовителях мало-помалу здесь начали забывать, а если и вспоминают о них, то лишь тогда, когда вдруг потечет крыша на казенном доме или печь даст трещину.

Но судьба Кухтыма не самая печальная в Пермлеспроме. Кухтыму еще повезло. Он сам собою соскочил из разряд дачных пригородных поселков без определенных занятий. Он еще живет, берется за себя. У других дела хуже. За девятую и десятую пятилетки в одной только Пермской области полностью завершили свою короткую трудовую биографию 75 лесных поселков! Да в одиннадцатой пятилетке к ним присоединились 14. Итого — без одного десятка. И главное — положение не меняется. Попытайтесь осмыслить эту полную драматизма цифру! Представьте тысячи брошенных домов, тысячи сорванных с мест семей, разъехавшихся в разные стороны родственников, оставленных друзей, заброшенные кладбища с дорожными могилами. Иные предусмотрительные лесовладельцы, к слову будет сказано, даже и кладбища-то у себя не заводят. Вот, например, Городищенский. Из поселков этого предприятия возят хоронить умерших в Пожву. Концы разлеще: от 4 до 26 километров, самый дальний конец из Пожовки. «Пусть далеко, — считают местные жители, — зато потом, когда поселок закроется, ближе будет навещать кладбище в поселковой Пожве, чем ехать в бездорожную Пожовку. Да еще неизвестно, откуда и ехать-то придется».

Вот и получается, что лесозаготовители и их семьи поставлены в парадоксальные условия существования, при которых уклад их жизни по форме вроде бы оседлый, а по смыслу — кочевой. И этот факт начинает не устраивать все большее количество людей, профессиональных лесозаготовителей.

Знакомый кадровик из Пермлеспрома рассказал мне, как он подбирал кандидатуру на должность главного инженера в Вайский леспромхоз. Поиски шли долго, наконец был найден подходящий молодой инженер в одном из леспромхозов Коми-Пермяцкого автономного округа. По всем статьям он годился на выдвижение. В прежние времена за такие предложения молодежь хваталась обеими руками. А этот, когда дело дошло до конкретных переговоров, уперся — поинный и бесповоротный отказ.

— Как ты думаешь, по какой причине? — с возмущением в голосе спрашивал меня кадровик. — Не догадаешься, хотя об заклад побьемся. Оказывается, в его новую квартиру, которую ему предоставляют в Вае, не вмещается импортный гарнитур. Я ему говорил: «Поезжай, доверим леспромхоз...» А он мне про гарнитур. Я ему про высшие интересы государства, а он мне опять про гарнитур. Ты подумай только, как народ измелчал!

И кадровик, человек рассудительный, сдержанный, кулакком с досады даже слегка пристукнул по позированной крышке письменного стола.

Тут я реплику поддал:

— Скажи, только честно, он тебе показался врачом, сквалыгой, металином?

— Да нет вроде, нормальный парень.

— Тогда вот что скажи: почему все-таки он должен бросать свой гарнитур, если в отрасли за хороший труд поощряют людей правом на внеочередную покупку именно таких гарнитуров и других ценных вещей? Чувствуешь неадекватность ситуации? Сначала поощрение, а потом требование, чтобы гарнитур был выброшен. Ну, пусть не выброшен — продай. Не в том суть..

— Да как ты не поймешь, что тут рост, а там вещь? — взорвался кадровик. — Ведь несопоставимо же то и другое! Может, он этим гарнитуром себе дорогу в полноценную жизнь затеживает.

— Неубедительно, хоть и горячо, — возразил я. — Давай оставим его предполагаемый служебный рост в покое. Скажи, ты сам сколько за свою жизнь сменил мест работы и сколько при этом поменял гарнитуров?

Задавая этот вопрос, я знал: мой знакомый — большой любитель столярной работы, у него талант к ней, на досуге он мастерит мебель, да не просто там какую-нибудь корпусную, вроде выпускаемой обычно мебельными фабриками, а ручную, штучную, резную.

— Места работы менял, не спорю, а гарнитура на одного не оставил, да ни одного и не купил. Я таскал за собой кое-какие вещички штучные. А потом сам себе смастерил мебель в комплекте, ею сейчас и пользуюсь.

— Ну вот. Ты таскал за собою вещишки. Молодец. Но почему другие-то должны поступать так, как ты? Может, ты их и мебель заставляешь мастерить? Почему твой несостоявшийся руководящий кадр должен бросать свой импортный гарнитур, как только ты позовешь его в дорогу? И, обрати внимание, только затем бросать, что ты ему предлагаешь перебраться с одной временной работы на другую временную. Рассуди: во имя чего ему это делать? Что ждет его в Вае? Да ничего нового... Я думаю, не в гарнитуре дело. Ты знаешь, как каракачица уходит от преследования? Выпускает облачко чернил. Не чернила слепят логотипающего, а то сбивает с толку, что в каждой капелке чернил отражается маленькая убегающая каракачица. Преследователь в растерянности. Пока суд да дело, — каракачицы и нет. Я думаю, гарнитур и есть для тебя что-то вроде облачка чернил. Зря ты увидел в нем причину отказа. Гарнитур тут не причина, а повод. Ты думаешь, молодой инженер противопоставил его служебному росту? Нет. Это он оседлую жизнь противопоставляет кочевой.

В тот момент кадровик с моими доводами согласился. Однако доводы доводами, а работа работой. Да и что может противопоставить он насущным проблемам текущего производства, кроме честного выполнения своих служебных обязанностей? А тут проблема... Да еще какая! Ну, встанет он на мои позиции. А работать как? Я думаю, служебные обязанности должны вернуть кадровика обратно к его первоначальному мнению. Мне думается, что снова поднимется в душе его досада на неуступчивого кандидата в главные инженеры. И снова начнет он червно прихлопывать ладонью по полированной крышке письменного стола, думая приблизительно следующее: «Не причина, а повод, не повод, а причина... Да тут ведь целодло и совсем запутаться! Хорошо рассуждать так, не занимаясь подбором кадров. А чем мне эту вакансию заткнуть? И дался же инженеру этот чертов гарнитур!»

А между тем вот данные, взятые мною в одном из официальных документов бывшего Минлеспрома СССР, некоторое время назад реорганизованного в Минлесбумпром СССР: «... в одиннадцатой пятилетке выбытие производственных мощностей в лесозаготовительной отрасли будет опережать их ввод, что создает дефицит в лесоматериалах к 1985 году в 33 миллиона кубических метров. Это вызовет большие трудности в обеспечении сырьем предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, строительства, сокращение расходов на ремонтно-эксплуатационные нужды, неудовлетворение запросов широкого рынка и бытового обслуживания населения и

приведет к значительному снижению ресурсов для экспорта лесных материалов на капиталистический рынок».

Лесозаготовители говорят: неудачи в работе последних лет происходят у них потому, что в лесу действует слишком много ограничений. И в подтверждение приводят данные: ежегодный естественный «отпад» древесины в Европейско-Уральской зоне составляет 240 миллионов кубометров, в том числе в хвойных насаждениях 150 миллионов кубометров. Из этого делается вывод: вот если всё дадут рубить, а рубить пока, как видите, есть что, тогда мигом произойдут в лесной промышленности благотворные изменения. И народное хозяйство будет удовлетворено, и удастся приостановить закрытие лесных поселков. А то ведь уже сейчас иным потребителям приходится поставлять древесину за 1700 километров. Шутка ли, концы какие!

А может, благотворные изменения все-таки не произойдут? Может, острота проблемы лесозаготовительной отрасли при таком повороте дел, когда в лесу перед топором падут все препоны, лишь смягчится на время, чтобы потом обостриться с еще большей силой? Я думаю: не нужны ли приводимые цифры тем, кто их называет, для того лишь, чтобы, пользуясь ими, как рычагом, сдвинуть с пути топора ограничения и рубить все и где придется, не боясь о дне завтрашнем? Не разумнее ли сначала разобратся: а откуда, собственно, в лесной промышленности пошло установление, потом нашедшее подтверждение в специально разработанной структуре лесопользования, при которой кратковременность существования как предприятий, так и поселков стала нормой?

2

Отмечу: сегодня кратковременность существования леспрохозов планируется. Проектировщики при разработке проектов новых предприятий, как правило, исходят из цифры 30. 30 лет. За этот срок леспрохоз должен использовать весь свой лесфонд, полностью амортизироваться и прекратить свое существование, забросив дороги, поселки, объекты соцкультбыта и так далее. Таким образом, социальная судьба лесозаготовителя, кочевника XX века, не способного создать для своих детей Родительского Дома, планируется именно такой с самого начала. Это — жестокая правда, от которой не скроешься ни за какими рекламными роликами о новых лесозаготовительных поселках, блистающих уютом и чистотой. Выше я отмечал: за последние 15 лет в Пермлеспроме закрылось без малого 90 лесных поселков. А сколько открылось? Мунительно припоминаю — не больше двух-трех. И как тяжело было строить эти 2—3! Элементарная арифметика: 90 против 3, а за ней стоит обез-

себя и своих потомков в облюбованном им для жительства месте. Словом, нужно менять порядок в лесной промышленности! Нынешняя практика ведения лесозаготовок не устраивает многих, многим, и по разным поводам, внушает тревогу за будущее.

Однако как же возник в нашей стране первый леспромхоз — тот самый, с которого пошла традиция, обрекающая лесное предприятие в таежной части России на скорое умирание?

В поисках ответа на этот вопрос нет необходимости уходить мыслью в далекие эпохи нашей истории. Скажу только, что вплоть до Октябрьской революции лесная промышленность как организованная отрасль государственного хозяйствования в России отсутствовала. Государство интересовало лишь леса корабельные, пригодные на судостроение, их эксплуатация строго регулировалась законами, начиная с Петра Великого. В остальных лесах хозяйничал мелкий и крупный предприниматель. Лес рубили его владельцы, кто хотел и как хотел. Даже в канун Октябрьской революции, когда государство в силу неизбежного хода событий, сильно обостривших международную обстановку, начало понимать истинную цену леса как национального богатства (древесина пережигалась на уголь, уголь использовался в металлургии — это ведь удивительное устойчивых интересов государства в наращивании вооружения: не забудем — Россия вступила в полосу жестоких войн), даже тогда около половины лесов, например, Пермской губернии принадлежало частникам. Лес рубили зимой. Рабочая сила — собравшиеся на заработки зыряне, башкиры, местные крестьяне и всякий бесприютный люд. Даже когда нужда в уральском металле достигла крайних пределов, в структуре лесопользования ничего не изменилось, кроме разве того, что на лесоразработки были направлены дополнительно 10 тысяч китайцев да 30 тысяч военнопленных, в основном, немцев.

Резкий поворот в лесном деле произошел после Октября.

27 мая 1918 года правительством был принят «Основной закон о лесах». Документ выдающегося значения прежде всего потому, что он весь был устремлен в будущее. Он вобрал в себя весь имеющийся опыт организации лесного дела как за рубежом, так и у нас в стране и на основе его сформулировал основополагающий принцип, в соответствии с которым впредь должно вестись лесопользование в России. Выглядел он так:

«Для удовлетворения лесных потребностей предназначается исключительно древесный прирост лесов в пределах лесостроительного плана».

То есть впредь истощительный характер лесопользования у нас законодательно запрещался! Для этого лесную промышленность, создание которой закон предвосхищал, предстояло организовать,

строго следуя принципу постоянного действия. Закон предписывал будущим леспромхозам рубку леса вести так, чтобы в момент, когда будут дорублены последние гектары закрепленных за ними массивов, старые вырубki уже стояли бы, покрытые новыми лесами, пригодными к промышленной эксплуатации. Но требованиям этим не суждено было осуществиться. Началась гражданская война, сопровождаемая интервенцией, экономической блокадой. И вот тут русскому лесу выпала честь сыграть одну из решающих ролей в истории становления молодой Советской Республики. Он в буквальном смысле слова спас от лютого холода первых трех наиболее тяжелых зим: он вдохнул жизнь в железнодорожный транспорт, что позволило с юга страны перебросить в голодные Москву и Петроград продовольствие. И он же помог осуществить прорыв экономической блокады. История сохранила ленинскую телеграмму от 10 сентября 1920 года, адресованную ВСНХ и Наркомпротору: «Ряд крупных экспортных сделок на лес, заключенных нашей лондонской торговой делегацией, имеет большое политическое и экономическое значение, фактически прорывает блокаду».

Сделки заключены. Требовалось срочно развить успех. Как? Конечно же, созданием таких промышленных подразделений, которые были бы в состоянии заготавливать и продавать за границу столько леса, чтобы никакие пронырки наших недругов не смогли бы заткнуть пробитую в экономической блокаде брешь. Наиболее удобными для размещения таких предприятий были леса Дальнего Севера. В. И. Ленин, выступая 21 декабря 1920 года на заседании фракции РКП(б) VIII Всероссийского съезда Советов, прямо указал на это, а 17 августа 1921 года Совет Труда и Оборона принял положение об органе управления лесной промышленности Северо-Беломорского района — Северолес.

Этот день стал днем рождения лесной промышленности нашей страны. Конечно же, Северолес в те годы не мог быть образован в полном соответствии с требованиями «Основного закона о лесах», его создание — сверхоперативный хозяйственный отклик на неотложные потребности молодого государства, поэтому продолжительность существования его предприятий была ограничена.

Беда не в том, что таким был создан Северолес, а в том, что позже опыт его работы приобрел всеобщее значение, был положен в основу всей лесозаготовительной промышленности страны. Впрочем, тогда уже В. И. Ленина с нами не было.

Вот тут-то и началась в наших лесах вольница, инерция которой до конца не преодолена и до сего дня. Каждое ведомство, ведущее лесозаготовки, брало из леса то, что ему требовалось. Задача перед предприятиями ставилась предельно простая: как можно больше взять древесины нужных сортиментов и, истощив тайгу,

идти дальше. В уральских лесах процветала практика лесопользования, худшая из возможных, в результате укорачивался и без того короткий век существования лесозаготовительных предприятий. Постоянным пользованием здесь, как говорится, и не пахло. В 1948 году специалисты Уральского филиала Академии наук СССР с тревогой прогнозировали: «Использование эксплуатационного запаса должно длиться по Свердловской области 30 лет, по Пермской — 38 лет, по Челябинской — 16 лет, а в среднем по Уралу 32 года». В расчет при этом, конечно, не брались леса, законом изымаемые из промышленной эксплуатации.

Тут читатель может сказать: «Но ведь с тех пор прошло уже большее количество лет, а заготовки на Урале все еще продолжают полным ходом...» Не будем обольщаться. Во-первых, объем их идет на спад в связи с выбытием мощностей. Во-вторых, сроки лесозаготовки удлиннились частично потому, что в рубку была пущена часть лесов, эксплуатировать которые в 1948 году не предусматривалось. Но главное даже и не это. Просчет ученых, если он и имеет место, все равно не устраняет временности существования наших нынешних лесопромхозов, всех до единого, и лесозаготовительных населенных пунктов. Крах их лишь отодвигается еще на какое-то количество лет. Только-то и всего.

3

Как-то вечером у меня дома раздался телефонный звонок. Снимаю трубку. Голос телефонистки:

— Квартира? Ответьте Осе. Алло... Оса! Вы слышите меня? Разговаривайте с Пермью..

В трубку голос Бориса Игнатьевича Ренева, директора Осинского лесопромхоза. Отношения между нами почти ровные. Я давно слежу за борьбой Ренева с неуклонными и жестокими, как закон естественного отбора, условиями существования лесной промышленности. Как могу, помогаю ему своим журналистским пером. Ренев борется за продление жизни своего предприятия, которому в 1979 году исполнилось 50 лет. Он мечтает вывести лесопромхоз на режим постоянного действия, сделать его вечным. Во-первых, предприятие в ныне существующих границах действительно на закате; во-вторых, люди, от которых зависит изменение судьбы лесопромхоза, находятся в слишком уж сильном плелу у существующей пока практики хозяйствования в лесу, другой они просто не представляют. Ренев в тревоге. Вот и теперь стороной он узнал, что в Москве в министерстве зашла речь о передаче предприятия из подчинения Пермидесприма сарапульским деревообработчикам. Это и встречаюшего директора. Если такое случится, прости-прощай мечта его жизни и труды последних десяти лет.

Удмуртским деревообработчикам пермский леспромхоз понадобится лишь как поставщик древесины. А тут ее осталось мало. Социальные же и хозяйственные проблемы леспромхоза — впрочем, об этом подробнее ниже — можно решить лишь при участии в них всего Осинского района, областных инстанций и, конечно, союзного министерства. А при предполагаемой переориентировке такое участие станет более чем проблематичным. Значит, через пятилетку с небольшим от леспромхоза останутся лишь воспоминания.

Не выдержав тяготей неизвестности, Ренев позвонил мне с просьбой уточнить: быть по сему или не быть? Я узнал действительно, вопрос передачи обсуждался, но окончательно решение не принято...

Судьба Бориса Игнатьевича, до того как он стал директором леспромхоза, была обычной судьбой лесного специалиста. После вуза его направляли то в одно, то в другое предприятие. Но ему претила кочевая жизнь. По складу он создатель. Эта особенность личности Ренева не могла в полную силу проявить себя в тех условиях, где ему приходилось работать. Везде от него требовали одно — «кубики» любой ценой.

Тут приходится признать: создателей вроде Ренева в лесной отрасли все-таки не так уж много, куда больше в ней выжимателей. О, это совершенно специфический тип руководителя, не знаю, встречается ли он еще где-нибудь за пределами лесозаготовительной отрасли, но здесь он процветает и окончательно уйдет в прошлое, видимо, не скоро. Выжиматель по сути своей кочевник, в его жилах течет кровь конкистадора, хотя, быть может, он и не слышал никогда, что это такое. Он победитель жизни. Я их встречал, знаю вблизи, а потому могу набросать обобщенный портрет. Они копят из одного предприятия в другое, бекутся в первую очередь не в блага коллективов, которыми им все еще доверяют руководить, а в частоте и весомости вкладов в личную сберегательную книжку. Во имя стабильности этих вкладов они готовы на многое.

Однажды в Пермилесприме мне показали удивительный график, такую разводную вилу на миллиметровке, и прокомментируют его. График отражал взлеты и падения одного из лесопромхозов объединения. Там, где кривая ползла вверх, был взлет, где вниз — падение. И вот что удивительно: в годы, когда предприятие выходило на пик успеха, в нем работал директором выжиматель, а когда кривая образовывала седловину — работающий, ответственный перед коллективом леспромхоза человек. Дело в том, что в противовес выжимателям в лесной промышленности есть особого рода директора-неудачники, их направляют в леспромхозы с разбросанными сырьевыми базами, с разрушенными дорогами и с оторванными от дорог лесосеками. Только что здесь побывал выжима-

тель, выжал из предприятия все возможное и, бросив коллектив на произвол судьбы, уехал дальше. Директор-неудачник начинает восстанавливать из руин предприятие. Делается это трудно, порой целые годы. Новый директор получает несколько выговоров, портит отношения с вышестоящими руководителями, в конце концов ему надоедает и впредь оставаться битым, а иной раз лопается терпение у его начальства, которое считает — и чем дальше, тем увереннее, — что предприятие может работать лучше, да вот директор что-то артачится. Словом, происходит замена руководителя. На смену ему снова приходит выжиматель. Для его появления предшествеником все подготовлено, а уж тот умеет круто повернуть дело. И поворачивает. Продолжается это до тех пор, пока леспромхоз, пройдя счастливый пик, не начинает катиться вниз. Тогда выжиматель садится в заработанную «Волгу» и катит в следующее подготовленное к его приезду предприятие.

Только что показанная закономерность несколько схематична, а потому фельетонна, но в ней содержится значительная доля правды. Ныне представители клана выжимателей в наиболее законченном виде стали мало-помалу ступенькаться, терять свою прежнюю типическую, контрастную чистоту, но в прежние времена Реневу приходилось не только ставиваясь с ними, но и даже работать вместе.

Лет пятнадцать назад, по сути дела в начале еще своей инженерной биографии, Ренев работал главным инженером Кунгурского леспромхоза. По объему заготовок древесины это было предприятие средних размеров, а по занимаемой площади — почти гигант, лесные угодья его располагались в нескольких административных районах. Борису Игнатьевичу было стыдно, когда видел он, сколь неблагодарен, расточителен с точки зрения образования отходов, труд людей на нижних ступенях предприятия. В голове его рождалась большая планка. Для начала в Куде и Чернушке он затеял строительство двух уникальных по тем временам для Пермской области леснопильно-гартных цехов с полной утилизацией отходов. Но радость его была короткой. Подоспела очередная реорганизация, Кунгурский леспромхоз ликвидировали, присоединив его материально-техническую базу и людей к Щучьезерскому. На первом же собрании актива новый директор, человек старого лесного замеса, что называется, наотмашь врезал главному инженеру. Прямо так с трибуны актива и заявил:

— Я не позволяю впредь распылять рабочую силу предприятия на второстепенные работы. Наше дело брать лес. Надо сосредоточиться только на этом. А вы, товарищ Ренев, настроили себе памятников в виде этих комплексов и ходите гордый... У меня с этим не пройдет,

Увы, вот он — знакомый почерк выжимателя!

Это событие сыграло в судьбе Бориса Игнатьевича большую роль. Он решил: с кочевой жизнью надо кончать при первой же возможности, надо забить в подходящем месте «кол» помассивнее, привязаться к нему накрепко, чтобы никакие ветры не сдули, и явчать новую жизнь — наладить гармоничное производство, чтобы подчиненные люди с тревогой не думали о будущем, а располагались бы жить на лесной земле свободно. Но пока появилась возможность осуществить задуманное, прошли годы. И все-таки случилось... Его самого назначили, наконец, директором Осинского леспромхоза.

Я помню, как освобождали от работы предшественника Ренева — директора многоопытного, многознающего, но руководителя устаревшей формации, без живых идей в голове, без больших целей на будущее, уставшего от кочевой жизни и бесконечного напряжения в работе. Дело было на совете директоров. До конца квартала оставались считанные дни, план не сверстывался, и директоров предприятий собрали на втором этаже в просторном кабинете начальника Пермлеспрома. Хозяин кабинета был в отпуске, вел совет главный инженер. К концу заседания обстановка была накалена до предела, у многих директоров после разности горели испогнанные лица. И тут клин вышел на Осинский леспромхоз. Оказалось, именно он давал тот минус, который другим предприятиям никак не покрыть. Директора подняли, поставили перед собранными, стали воспринимать: сможет или нет он за оставшиеся дни наверстать упущенное... Обстановка в леспромхозе была тяжелей; понужая к «выполнению» плана, директора, в сущности, толкали на приписки.

Кто знает, будь он уверен, что в ближайшие месяцы покроет приписку, может, и согласился бы «выполнить» план. Но надежд никаких не было. И директор отказался дать гарантии. Видно, ведущего совет главного инженера объединения в этот миг слегка побледило, он решительно встал из-за стола.

— Ну, что же... Считайте себя с этой минуты уволенным. Вы больше не директор. С райкомом партии вопрос вашего отстранения от работы будет согласован. Можете быть свободны.

Вот на какое место пришел Ренев. Казалось, ему уготована классическая участь директора-неудачника. Но мы-то знаем — Реневым владела идея. Можно сказать, идея всей жизни: создать почти невозможное при существующем положении вещей — предприятие постоянного действия. Он понимал: осуществить его мечту можно будет лишь в том случае, если ему удастся наладить производство и быт рабочих так, что одна мысль о возможности ликвидации такого предприятия заставила бы людей, руководящих

отраслью, пойти навстречу его желанию и все-таки изыскать возможность для перевода леспромхоза на режим постоянного действия.

«Идеализм!» — восклицает житейски многоопытный читатель. Быть может. Не спорю. Но, во всяком случае, прекрасный идеализм, тем более, что в случае с Реневым он обернулся вполне реальными плодами, когда новый директор, засучив рукава, взялся за дело.

Сколько было сделано за прошедшие с той поры годы! Начал он с концентрации лесовозного парка леспромхоза в одном месте. В предельно короткие сроки был построен гараж из железобетона в поселке Лесном. Одновременно застучали топоры и на строительстве домов для водителей, которым предстояло сюда перебраться. Одна новизна этого начинания не отдавала первой свежестью, да и полного эффекта проведенная концентрация транспорта не дала. От лесосек до нижнего склада десятки километров пути. Случалось, на одной погрузочной площадке в лесу собиралось сразу несколько лесовозов, шоферы подолгу томились в ожидании очереди на погрузку. А на другой погрузочной площадке в то же самое время не было ни одной машины и простаивали погрузочные средства.

Когда Ренев узнал, что над решением его проблемы бьется молодой ученый-прикладник В. П. Егоров, тогда еще даже и не кандидат наук (это позже он защитил диссертацию, основываясь на опыте внедрения своих технических идей в Осинском леспромхозе), он немедленно встретился с Егоровым и предложил осуществить задуманное в Осе. Так встретились, испытывая друг к другу чувства глубокого уважения и симпатии, два интересных человека, два инженера, два наших современника-созидателя.

При первом рассмотрении технические идеи Егорова были предельно просты: установить на автолесовозах раины. Тогда появится возможность оперативного управления работой лесовозного конвейера. Какой-то чрезвычайной новизны в этих предложениях не было, ведь радиодиспетчеризация уже давно применяется, например, в сельском хозяйстве. И все-таки выяснилось, что новизна есть, причем принципиальная. В отличие от сельского хозяйства, леспромхоз располагает жестким технологическим потоком, в котором тем не менее все ежечасно меняется. Поэтому с первых же шагов радиодиспетчеризация в леспромхозе стала перерастать свои рамки, превращаться в совершенно новую систему оперативного управления производством как таковым.

Вот как это стало происходить на практике. В леспромхозе был организован линейный диспетчерский пункт при гараже. Работать он стал в три смены. В любое время диспетчер этого пункта может связаться по радио с шоферами лесовозов, с лесосекой, с

нижним складом, конторой, квартирами руководителей предприятия. В свою очередь, диспетчера линейного пункта «привязали» к главному диспетчеру леспромхоза, который и стал дирижировать огромным лесовозным конвейером предприятия. Теперь работники управления лишились права самостоятельно, без предварительного согласования с главным диспетчером, звонить на лесосеканты. Вся информация стекалась к нему и порой, после обращения в диспетчерскую, отпадала необходимость в звонках. А назначил Ренев главным диспетчером Анатолия Степановича Первякова, человека всеми уважаемого в леспромхозе, успевшего за свою жизнь повоювать на фронте и поработать на руководящих должностях, — раскудильного, спокойного...

Но это не все. Егоров разработал для Ренева специальную контрольную карту, ее стал заполнять все тот же Первяков и каждое утро класть на стол директору. Карта была составлена столь ловко, что Реневу достаточно было бросить на нее всего лишь взгляд, чтобы тут же оказаться в курсе всех текущих дел предприятия. Прежде на добывание этих сведений ему приходилось затрачивать многие часы, дополнительные к основной работе, до хрипоты разговаривать по телефону с людьми, уходя из служебного кабинета поздно вечером. А являться сюда чуть свет. Теперь он принципиально стал уходить с работы не позже семи вечера, а приходит к девяти утра — дело, ранее неслыханное... Ныне такие системы находят все более широкое распространение в отрасли, внедряются и на западе и на востоке страны. Но в те годы ничего подобного еще нигде не было. Потому и стал большой радостью для Бориса Игнатьевича приезд в Осу двух специалистов из Академии наук Латвийской ССР и Министерства деревообрабатывающей промышленности республики. Они прослышали о начинании, прибыли посмотреть на него вживе. Ренев удовлетворенно думал: «Ну вот, и мы стали что-то значить...»

Следующим крупным шагом, предпринятым Борисом Игнатьевичем, стало изгнание из предприятия ручной разделки древесины. Древесные хлысты леспромхоз возит на берег Воткинского водохранилища, железной дороги в Осе нет. Весь берег залива был уставлен ручными эстакадами, на которых десятки людей электро- и мотопилами кряжевали привезенные хлысты, тут же формируя из полученных сортиментов пучки и в заливе составляя из них секции для плотов. А рядом с этим развалом бревен, чуть в стороне, красовалась едва начатая монтажом полуавтоматическая линия разделки хлыстов, специально созданная к тому времени для пучков приречных нижних складов. Дело было едва начато и заморожено. Новый директор сразу оценил достоинство новинки, работы на линии возобновились.

И вот тут самое интересное: едва линия была пущена в работу, едва успела раскрываться первые тысячи кубометров древесины, как директор распорядился все ручные эстакады разрушить. Умных слабонервных при таком решении сердца екнули. Как разрушить? Ведь новая полуавтоматическая линия сможет полностью заменить ручной труд на раздельке древесины лишь в том случае, если будет работать без перерыва шесть дней в неделю при трехсменном суточном режиме. Но это нелегко. Полуавтоматическая линия ненадежна, полна конструктивных недоработок. С такой интенсивностью в лесной отрасли не работает ни одна подобная линия, хотя опыт их эксплуатация на железнодорожных нижних складах накоплен немалый.

Но Ренев знал, что делал. Он ясно понимал, что сочетание на одной производственной площадке старого и нового психологически не оправдано. В этом случае хорошо освоить новую технику долго не удастся. И он намеренно ставил предприятие, и в первую очередь себя самого как инженера и руководителя, до того пока не будет построена вторая линия, в условия, при которых отступать было некуда. Он понимал: через неотложное преодоление трудностей быстрее и надежнее можно решить являвшие перед ним технические задачи. Это называется — сжечь за собою мосты.

И он нашел ресурсы для трехсменной работы линии. Ренев считал: леспромхоз не завод, содержать у каждого механизма надежную слесарную службу он не в силах. Имеющиеся слесари были низкой квалификации, плохо справлялись со своими обязанностями. Линия работала от аварии до аварии, поэтому на ней велся лишь один вид ремонта — аварийный, да и тот силами самой бригады, слесари были лишь на подхвате. Без добротных профилактических ремонтов линия обречена была на быстрое ветшание, на увеличение числа аварий. О какой трехсменке тут могла идти речь! И директор отказался от услуг дежурных слесарей, привлек к проведению профилактических ремонтов специалистов ремонтно-механических мастерских леспромхоза. Профилактика стала проводиться в единый для всех бригад выходной день. А ведь рабочие РММ, как известно, это тебе не дежурные слесари, они леспромхозовские асы ремонта. Их рвение, конечно, поощрялось всеми доступными средствами.

Расчет оправдался. Теперь заряд прочности агрегату хватало от выходного до выходного. Огненные леспромхоз мог держаться, обходясь без тяжелого ручного труда, до пуска второй раскрывочной полуавтоматической линии. Так в Осе был приобретен второй уникальный для лесозаготовительной отрасли опыт организации высокопроизводительного труда, который до сих пор не оценен по достоинству.

Тут я позволю себе небольшое отступление, поделюсь мыслями, возникшими в связи с рассказанным. Понятие «опыт» основывается на повторении уже найденного. Обратите внимание: то, что делает Борис Игнатьевич Ренев, не является производным от опыта. В прошлом ничего подобного делать ему не приходилось. То, что он делает сегодня, — производное от чего-то другого, более значительного, чем просто опыт. В самом деле, отберите у Ренева его идею, посмотрим, сможет ли он сохранить в себе свой пылкий уровень творчества. Но уж лучше, мне думается, этого не делать...

Ох, как все это важно, как не мелко, как принципиально!

И еще я думаю: как писатель интересен настолько, насколько он мыслитель, так и инженер (лицо тоже обязанное быть творческим) ценен настолько, насколько им владеют животворные идеи. А если он погуглен обстоятельствами жизни, которым не сумел противостоять, если он работает по горькой необходимости, то уж тут — извините... Тут он инженер лишь по штатному расписанию, а не по существу.

Директорский авторитет Ренева среди дезаготовителей рос быстро. О нем чаще говорили с похвалой, все чаще предлагали выступить с трибун самого разного уровня. Он, выступая, неизменно гулял свою линию, что бы ни говорил, все сводил к одному — к необходимости организации предприятия постоянного действия. Его хвалили. Но это были не те плоды, которых он ждал от своей работы. Леспромхоз вышел из-под власти пресловутой «разводной пилы», но Ренева в главном-то, в сущности, не понимали. В нем не хотели видеть человека нового типа, из тех, кого вчера еще в отрасли не было, к нему подходили со старой меркой, как к обычному, хотя и несколько своеобразному, человеку. В нем видели талантливого организатора, но поистимому ущемлявшегося в рамках существующей хозяйственной практики. А он-то как раз в них не ущемлялся. Ему делали соблазнительные предложения, отказ от которых вызывал недоумение. Да, он отказывался от предложенный служебного роста, то есть, по существу, от кочевой жизни, но и ему отказывали в организации постоянно действующего предприятия.

А возможно ли оно вообще, предприятие такого типа, в Осе? Ренев в поисках ответа на этот вопрос заказал институту Уралгипролеспром расчеты. Проектировщики подтвердили: мечта Ренева осуществима. Более того, в экспериментальном плане даже нужно пойти ему навстречу. В районе есть самозаготовительные карликовые предприятия — их требовалось закрыть, остатки лесосырцевых

без передать Осинскому леспромхозу. Во имя осуществления вышней цели этот шаг оправдан, ибо через 5—7 лет они сами по себе отомрут. Должно последовать и слияние лесозаготовителей с местным лесхозом. Словом, в Осинском районе должен образоваться один-единственный хозяин леса, который и сконцентрирует в своих руках все работы, будет вести лесозаготовки, сажать молодой лес, заложит плантации для целлюлозно-бумажной промышленности, наладит переработку древесины. При этом, конечно, придется кое-чем поступиться, в первую очередь снизить темпы рубки вплоть до того времени, когда поспеют в районе молодые леса. А произойдет это через 25—30 лет. Если же предлагаемые изменения не осуществить, то через четверть века после предстоящего закрытия всех лесных поселков придется все начинать сначала. Да и найдутся ли тогда желающие сходить в лес?

Серьезны ли эти доводы? Я думаю — да, и даже более того. Но нашлись возражения. Говорили, что подобная концентрация нерентабельна, слишком мала будет отдача от людей, занятых на таком предприятии, и вообще — поздно, момент упущен. Так что остается одно — и впредь держать курс на самоисчерпание предприятия.

И тогда Борис Игнатьевич экстренно взялся за организацию еще одного аргумента в пользу своей идеи: «А что если будущее за лесозаготовительно-лесохозяйственно-аграрными предприятиями? Конечно, с преобладанием двух первых составляющих. Но ведь и третья составляющая не пустяк». На скорую руку прикинул: оказалось, что и без подсобного хозяйства сейчас личное подворье лесозаготовителей его предприятия в год производит 70 тонн мяса, 900 тонн молока, 1,5 тысячи тонн картофеля, 30 тонн меда, 600 000 штук яиц, и это при том условии, что половина жителей лесных поселков вообще не содержит скота, птицу и огород. Но ведь могут содержать! А если поселки закрыть? Тогда из пищевых ресурсов района, области, страны выпадут все эти продукты. Аргумент? Безусловно.

Он добился выделения возле Лесного 70 гектаров земли. Это поросший осипой и елкой пологий склон, сбегаящий к речке. Площадь будет раскорчевана, засеяна травами и распределена между теми, кто держит или желает держать скот. Но главная его работа была о другом. Он решил при леспромхозе сформировать совхозную часть производства. И вот в Лесном опять застучали топоры плотников, здесь приступили к строительству свиначника. Для начала небольшого, на 110 голов. Одновременно начались поиски земли. Пришел на помощь подшефный колхоз «Красногорец», он дал в аренду свои неудобья, всего сорок гектаров. Еще свиначник не был срублен, а леспромхозовские тракторы уже начали

пахоту. Еще не был завезен на ферму хряк-производитель, а уже приобретены первые сельскохозяйственные машины — сеялки, культиваторы, плуги, картофелекопалки. Потом к ним присоединились комбайны, пропашные тракторы.

Осенью на неудобьях, отведенных леспромхозу, созрел урожай. Собрали зерно. Но где его сушить, где молотить? Ревнев лично поехал по колхозам района, просил, чтобы пустили на свои АВМ. Пора была горячая, все установки заняты. Тогда он решил: без своей АВМ не обойтись и без своего зернового склада — тоже. За полтора месяца был построен зерносклад, способный вместить 5 тысяч тонн зерна, рядом со складом смонтирована своя АВМ с гранулятором. Место для этих сооружений было выбрано на просторной петровутой опушке леса, где было начато строительство еще долгого ряда аграрных объектов, в том числе крупного свиначника по современному проекту.

Пока шло строительство, директор был занят поисками земли и нашел ее: 427 гектаров, из них 247 пашни. Ее передал в постоянное пользование леспромхозу все тот же «Красногорец»: земля эта была ему бесподручна, расположена через земли еще одного колхоза, а у Лесного под боком. Назревала даже еще более внушительная, чем уже состоявшаяся, передача земли, и тоже в месте, легко доступном леспромхозу. Словом, сельскохозяйственное производство ожило. А вскоре Борис Игнатьевич пригласил меня в гости, с гордостью, ничего не утаивая, показал все, обо всем — и хорошем и плохом — рассказал обстоятельно и открыто. Побывали мы с ним на полях, у АВМ, попробовали растереть на ладонях недавно намолотую муку, первую из собранного урожая. Потом прошлись по большому, как хороший спортзал, зерноскладу, где на бетонном полу пока хранились всего четыре небольшие кучи зерна, в каждую из которых была воткнута табличка с названием сорта. Дошла очередь до действующего свиначника. Оказался он чистым, сухим. Животных, как это и положено по науке, кормили в специальной выдвинутой столовой — ежедневный рацион свиньям, да и труд свиначок при этом значительно облегчается. Здесь было тепло, в помещении проведено водяное отопление. В ясельном отсеке, под деревянным настилом которого проходят отопительные трубы, дозвиваются, нежась под обогревающей их сверху лампой, маленькие поросята.

Уже на улице, остановившись, Борис Игнатьевич спросил:

— Ну, как, это аргумент?

Я ответил:

— По-моему, да. Как и вообще все, что вы делали до сих пор.

Ревнев вопросительно посмотрел на меня: ну, а что, мол, даль-

ше? Я не знал, что будет дальше, и потому неопределенно пожал плечами. Борис Игнатьевич понял, что я хотел этим сказать, и минуту спустя я заметил, как резко упало его настроение, хотя он старательно скрывал это.

4

Но мне не хочется заканчивать очерк на столь пессимистической ноте, хотя послушаешь иные авторитеты в лесозаготовительной промышленности, и небо покажется с овчанку. Не верят они в то, во что верит Ренев. А между тем именно от них-то как раз многое и зависит. Махнуть бы на них рукой, на авторитеты эти, да ведь не обойдешь их, на то они и авторитеты. А потому слушать их надо, хотя бы для того, чтобы знать, с чем спорить, против чего и против кого конкретно выступать. При этом я всегда помню: они обслуживают сиюсекундные потребности лесной отрасли, идут дорогой неразумного лесоистребления. Пусть не всегда оно будет длиться, но пусть еще хоть десяток-другой лет. Ничто человеческое ведь нам не чуждо. Там, глядишь, и пенсия у пессимистов подойдет, и само собой окажется, что им проблему лесов решать уже не нужно будет, она перейдет к следующему поколению. Они, следующие, пусть уж и разбираются в том, что мы с вами, уважаемый читатель, напортачили да им передали в наследство.

Тысячу раз прав был Л. Н. Толстой, когда, размышляя о тайнах человеческой природы, отмечал: «Удивляешься иногда, зачем человек защищает такие странные, неразумные положения: религиозные, политические, научные. Понци — и ты найдешь, что он защищает свое положение».

Однако вот что писал профессор П. В. Васильев в предисловии к книге М. Цейтлина «Очерки развития лесозаготовок и лесопиления в России»:

«В течение последних двух-трех десятилетий в нашей экономической и отчасти лесотехнической и лесоводческой литературе появилось немало работ, в которых в качестве якобы новой, архисовременной идеи выдвигается требование организовать и вести лесное хозяйство и лесозаготовки, создавая посылку так называемые постоянно действующие лесные предприятия...»

Конечно, идея эта сама по себе хорошая, и в малолесных районах она широко вошла в жизнь. Но осуществление ее в лесах, где уже действует определенная сеть лесозаготовительных предприятий, рассчитанных на 25—30 лет работы, связано на данной лесной площади с необходимостью обязательного сокращения примерно на одну треть годовых планов всех предприятий с одновременным созданием в других районах новых леспромхозов, способных компенсировать потерянные мощности...

В силу этого практическая возможность применения постоянно действующих предприятий оказывается для многолесной зоны очень ограниченной, а сама идея постоянства пользования — иллюзорной, не оправдывающей приписываемых ей преимуществ».

Как говорится, спасибо за прямоту, здесь хоть все ясно с первого прочтения. Но какой вывод следует из приведенного суждения? Самый непосредственный: продолжать рубить то, что осталось, по-старому, отбрасывая одно за другим лесоводческие ограничения. В самом деле, чего церемониться! Лес народному хозяйству нужен? Нужен. Значит, долой ограничения, возьмем все остатки!

И вот уже последователь профессора Васильева кандидат сельскохозяйственных наук Н. Теслюк выступает со статьей «Есть что рубить», опубликованной в порядке обсуждения газетой «Лесная промышленность» 11 февраля 1982 года, где бесхитростно предлагает в европейских лесах, и без того обескровленных в не столь далекие времена перерубами в их наиболее доступной части, «слить эксплуатационные леса всех трех групп в одну общую расчетную категорию». Для людей, не очень-то разбирающихся в лесоводческих тонкостях, поясню, что это позволит лесозаготовительной отрасли, относящейся к лесу пока лишь узкоутилитарно, прорваться со своей всепокрушающей техникой, рассчитанной на тотальную рубку, в пока еще сохранные кое-где остатки былой роскоши — леса водозащитные, рекреационные. Если принять к действию рекомендации Н. Теслюка, будет нанесен смертельный удар по лесам, представляющим особую экологическую ценность!

И, наконец, третье мнение, тем более показательное, что оно принадлежит лицу должностному, начальнику отдела Госплана СССР В. П. Татаринovu, а изложено автором в брошюре «Лесные предприятия будущего», изданной в 1981 году. В своем мнении тов. Татаринov лицо колеблющееся, то есть его мнение разделено как бы на две части: он одновременно совершенно против предприятий постоянного действия, но в то же время и за них. Рассмотрим обе части его странного мнения по очереди.

Сначала «против». Здесь он полностью солидаризуется с профессором Васильевым, пишет: «Если этот принцип (постоянства и равномерности рубок леса. — Д. Р.) может быть применен при ведении хозяйства в относительно малолесных районах, где имеются разные возрастные категории, то он совершенно неприменим для многолесных районов». Что предлагается взамен? Да то же самое, что предлагал и Н. Теслюк, только более аккуратно сформулированное, — пересмотр существующих ныне ограничений, которые «сдерживают дальнейшее развитие лесозаготовок и осложняют обеспечение нужд народного хозяйства лесными материалами». За

этими предложениями общего характера следуют конкретные: автор считает, что, сняв лесохозяйственные ограничения, необходимо усилить рубку леса в Европейско-Уральской зоне, где с 1965 по 1980 год из-за закрытия предприятий заготовки леса упали на 20,4 миллиона кубометров. Работник Госплана предлагает объемы эти тут же и наверстать, ничего принципиально не меняя в сложившейся практике ведения лесозаготовки!

Что и говорить, обращаться за помощью в Госплан к товарищу Татарникову я бы Реневу не посоветовал..

И вдруг на странице 28 все той же брошюры автор делает резкий поворот, меняет черные чернила на розовые. С этого момента следуют друг за другом целые каскады утверждений, доказательств бесперспективности которых были посвящены предыдущие страницы. Что случилось? Оказывается, тут речь пошла о будущем лесозаготовительной промышленности, а его вне рамок сложившегося действия товарищ Татарников не видит. Он так и пишет: «Основные типы предприятий будущего будут представлять собой непрерывно действующие предприятия..»

Сразу и не сообразишь, когда же все-таки Реневу обращаться за помощью к товарищу Татарникову в Госплан со своей идеей — сейчас или только в будущем?.. И вообще, где грань между «сейчас» и «будущим»? На каком этапе практического существования лесозаготовительной отрасли предложение Татарникова сможет перейти во второе, прямо противоположное первому? Ведь если сейчас восторжествует мнение «против», то мнение «за» так никогда и не обретет действительных прав, ибо завтра наши леса будут расстроены еще больше и постоянно действующие предприятия в них будет организовать еще сложнее.

Слово не дело, но слово подготавливает действие. Вот почему, вступая на путь, предлагаемый товарищем Татарниковым в первой части его брошюры, мы никогда не приходим к тому результату, за который он ратует в ее конце. У каждого действия есть своя логика развития. Логика действия «за» и логика действия «против» разнонаправлены, одна из них ведет в сторону созидания, другая — выжимания, одна — к Реневу, другая — к его антиподу. Что касается меня, то я так и не понял, за кого же, в конечном счете, стоит В. П. Татарников.

И все-таки я хочу обратить внимание читателя и прежде всего не на «кубики», не на объемы и не на проценты, а на то, что слишком часто выпадает из поля зрения экономистов, — о человеке я говорю. О живом, реальном человеке, заготавливающем сегодня лес народному хозяйству, о Б. И. Ренева, о том инженере, который отказался ехать в Вану, о сотнях, тысячах других инженеров, мастеров, рабочих, больше не желающих мириться с пре-

мечностью своего быта. Человек — вот тот «объект» в лесной промышленности, на котором сошлись в точку все ее сегодняшние проблемы. Без человека ни одну из них не решить. Ибо проблемы русских лесов сегодня столь же экономические, сколь и этнические. Пришло время, когда требуется думать не о том, как бы побыстрее и подешевле заготовить леса в нашей сильно расстроенной тайге, не считаясь при этом с интересами самого лесозаготовителя, а в том пришло время думать, как приостановить процесс умирания лесных поселков, уже начавшийся процесс распада (из-за отъезда людей) самой лесозаготовительной отрасли. Решение этих вопросов не дешево, видимо, будет стоить, но других путей получения древесины в будущем вряд ли приходится ожидать. Надо во что бы то ни стало уйти из-под влияния порочной цифры 30. Уйти сейчас, пока не поздно.

Сначала забота о кубометре, потом забота о человеке. Такого не должно быть.

Я перелистал кучу книг, перечитал суждения десятков авторов по обсуждаемому вопросу и убедился: большинство из них совершенно упускают из виду человека. Они рассуждают о кубометрах, о группах лесов, о перебазировках, о «моделях» будущих предприятий, о технологиях, об открытии одних и закрытии других поселков и ни на грош не берут в расчет желание, охоту, мнение людей, составляющих основу, костяк отрасли, тех, кто живет в ее сегодняшних поселках, которые они собираются закрыть, и тех, кто будет жить в поселках, которые они хотят открыть. А ведь эти люди, повторяю сравнение, не шахматные фигурки в большой игре экономистов. Как бы люди не отвернулись от самой распрямленной схемы функционирования лесной промышленности будущего, если в ней не найдется места для осуществления их охоты, их желания, их чаяний... И, напротив, если будет решена проблема достойного существования человека в лесной отрасли — не разрешатся ли при этом сами собою и все ее экономические проблемы? Так не с этого ли нужно начинать? Не этим ли заканчивать? Говорят, новое в вопросах этики и морали — это по какой-то причине забытое старое. Вспомним же о том, что человек, по меркам человеческим, как был и глубокой древности, так и по сей день остается мерой всех вещей. В том числе и мерой благополучия лесозаготовительной отрасли.

Готовясь к работе над очерком, я разослал в некоторые адреса просьбы: высказать открытое, честное мнение по обсуждаемому вопросу. Откликом на мою просьбу начальника отдела Госнаб СССР П. Г. Реутова я и завершу его.

«Вопрос, который вы желаете осветить в печати, как я понял, сводится к необходимости создания в отрасли постоянно действующих лесозаготовительных предприятий. Я был бы благодарен вам, если бы такая публикация произошла. Человеческий разум обязан был давно воспротивиться несовершенной практике ведения лесозаготовительного процесса. Подумать только: строились поселки, создавались кадры, формировался быт людей, и одновременно с этим наращивались мощности по вывозке древесины сверх объемов расчетной лесосеки, мощности, которые обрекали уже в скором будущем все это на ликвидацию. У руководителей отрасли в то время не хватало мужества приостановить процесс интенсивного истощения лесов в закрепленных сырьевых базах до оптимальных ежегодных объемов рубок, с тем чтобы перейти можно было на непрерывную эксплуатацию лесных массивов.

Я понимаю, что критиковать прошлое всегда проще, но и наши сегодняшние действия оправдать нельзя, они тоже направлены на преждевременное отмирание лесопромысловских крохотных поселков и поселочков, они тоже граничат со злым умыслом, хотя и несознанным. Формула «надо», «требуется», «рубли больше», «ничего с тайгой не случится, если мы на десяток лет ее освоим раньше» и так далее чревата большими осложнениями. Может быть, с тайгой ничего сверхъестественного и не произойдет (оговариваюсь — может быть), но с людьми, с семьями, с капиталовложениями обязательно случится несчастье: капиталовложения окажутся бросовыми, а семьи рабочих и служащих — ненужными из-за отсутствия лесозаготовительного сырья.

Старину, лесной промысел, где преобладал ручной труд, с сезонным характером работ, наше поколение сумело превратить в высокомеханизированную отрасль народного хозяйства с постоянными кадрами рабочих. Но мы учились брать от природы только стволовую часть дерева, использование которого в процессе обработки доходит до 40—45 процентов, выбрасывая остальное на городские и поселковые свалки, подвергая кремиации и гниению. В прошлом в отрасли технически слабо представлено было лесохимическое производство, отсутствовала техника для обрезки сучьев и их переработки, а кора, опил, обзол, рейки и другие древесные куски считались пределами злом. Со временем старая техническая база лесозаготовок прошла стадию переоснащения, механизировалась, обновилась новыми станками, полуавтоматическими линиями, механизмами, возникли новые технологические решения, способные комплексно использовать лесные богатства. Давно известны выводы Латвииляха, что использование надземной части дерева дает возможность получить вдвое больше продукции с одного гектара леса, чем при переработке только ствола.

В настоящее время задача заключается в том, чтобы превратить отрасль в автоматизированную индустрию, работающую на принципах безотходного производства. Но если выпуск продукции из древесины мы начнем организовывать в лесодефицитных районах, как это пока подчас делается, то мы так никогда и не будем использовать всю лесную благодать. Ведь подсчитано же, что одно гектарное использование зелени деревьев, сегодня срубаемых на лесосеках, на корм крупному рогатому скоту, позволит стране дополнительно содержать дойное стадо около 10 миллионов голов...

Я думаю, что переработка сучьев, ветвей, всех отходов деревообработки и лесозаготовок приведет к организации в леспромыслах производства древесных плит, картона, витаминной муки, эфирных масел, целлюлозы и так далее. А это даст возможность создавать здесь жилые массивы, рассчитанные на постоянную перепективу. Экономная экономика не может допускать «выброс» капиталовложений. Капиталовложения должны давать отдачу, приносить пользу человеческому обществу постоянно. Для этого и необходимы постоянно действующие предприятия.

Лесокомбинат будущего должен отвечать условиям комплексной механизации и автоматизации всех производственных процессов, в нем должна быть ликвидирована сезонность работы, здесь должен быть создан поселок-город на 10—20 тысяч жителей с высоким уровнем культурно-бытового обслуживания. В таких лесокомбинатах появятся прудовые хозяйства, пасеки, фермы, засоленные пункты, лесофермы, будет происходить заготовка лесных ягод. Вот тогда лес превратится в источник значительного повышения уровня материального благополучия советских людей, в постоянно действующую, искусственно восстанавливаемую сырьевую базу страны.

Все-таки замечательно, когда мечтают инженеры, деловые люди! Тут до практики один шаг, нужно только, чтобы как можно больше инженеров предалось служениям тяжким мечтам. И пусть никогда на месте лесных поселков не возникают красивые острова — острова забвения, заброшенности и запустения.



Юрий Марков

* * *

Опять мы воздушный десант,
 Зброшенный в чащи России.
 На несколько дней провиант,
 Чтоб ноги по свету носили.
 Мы рвемся в глубины земли.
 Мы строим времянки и трассы.
 Чтоб где-то машины прошли
 И в небо впечатались асы.
 Завязнув, режут трактора.
 И лист на стекло ветровое
 Слетит и возьмет за живое,
 Напомнит: в дорогу пора...

* * *

Головою горячей в прохладу подушки нырну.
 Утону в полусне и пойду по зеленому дну.
 Будет памяти луч пробиваться сквозь толщу забот,
 Мной оставленных там, где уснувший мужчина живет.
 И падет этот луч на забытую с детства траву,
 И в забытой траве я по имени пса назову.
 Он погиб от стрелы. Но со мною он будет играть
 И сквозь годы мои будет что-то во мне узнавать.
 Мы вернемся по склону к далёко текущей реке,
 И оставим следы на еще не просохшем песке,
 И ворвемся с печалью в сияние брызг золотых,
 И река нас узнает, качая в волнах голубых...
 Я убрал бы из этой картины спокойно себя.
 Я там попросту лишний. Но жалко до одури пса.
 Да и что без нее остальная по ветру судьба?
 Серый путь в тишине.
 Предзакатная даль.
 Небеса.

* * *

За Фатеевым долом пшеница,
 Ни конца и ни края ей нет.
 Жаворонок
 звенящая птица —
 Объявляет над нею рассвет,
 Широченный рассвет.
 По-степному
 И росист,
 и цветаст,
 и богат!
 Ветер тронет взьерошенный омут
 И покатит волну наугад.

* * *

Играют облаком кудрявым
 Над синим озером ветра.
 Лепечут рощи, рожь и травы,
 Росой промытые с утра.
 Дышу полынью и укропом,
 Дышу хлебами и травой.
 И даль раскатывает тропы
 Во все концы передо мной.
 Мои травинка здесь и колос,
 Любовь, и радость, и тоска.
 И здесь куда слышней мой голос
 И откровеннее строка!

Александр Кленов

РЕАНИМАЦИЯ

Палата.
 Отсыревший потолок
 напоминает
 фрески древних храмов...
 А я сбежал бы, право,
 если б мог,
 от капельниц.



Марина Крашенинникова

НОВОБРАНЕЦ

Рассказ

Антон торопился на автобус. Он не успел купить хлеба — заболтался с Валеркой. А тут еще, как назло, вся улица запружена народом — видимо, подошла пригородная электричка. Вот женщина тащит за руки двух упирающихся малышей, вот громко смеющиеся девчонки застряли у перекрестка, вот безногий инвалид катит через улицу на своей тележке прямо на красный свет (этого-то куда понесло?!).

На-за поворота показался автобус. Антон прибавил шагу. В этот момент он услышал сдавленный крик. Неожиданно оглянулся. Инвалид лежал на дороге, колесики тележки тихо крутились.

Автобус подходил к остановке. Антон побежал и краем глаза заметил, что к инвалиду бросились прохожие.

Антону повезло: хлеб он все-таки успел купить.

Спать он лег рано. Но сон почему-то не шел. Антон повернулся с боку на бок, было задремал, потом опять проснулся. Снова наплыла ласковая полудрема. Да что за черт! — опять проснулся. Какое-то неприятное ощущение его беспокоило: что-то не так. Стоп. Да нет. День как день. Плохого, вроде, не было.

Антон, наконец, принялся считать до тысячи. А поскольку с математикой он всегда был не в ладах, ему скоро стало скучно и он заснул.

Утром Антон проснулся все с тем же неприятным ощущением. Наскоро позавтракал, взял метлу из прихожей, пошел мести двор. Он уже две недели работал дворником. Это занятие ему нравилось; ранним летним утром так хорошо на улице — дома, деревья, полинявшие скамейки, детская песочница — все вокруг в этот

час казалось загадочным, как будто бы только вернувшись из своей той, почной, неведомой людям жизни.

Но сейчас работа не приносила Антону удовольствия: на душе было беспокойно и как-то мутно. Что же все-таки не так?

Ага, надо раскрутить вчерашний день от конца к началу. Так Антон лежит в постели и не может заснуть. Он сидит за ужином, до этого хохочет вместе с отцом. Вот он торопится в булочную. Вот сидит у Валерки. О чем же они говорили? Да все о том же: кто куда из одноклассников решил поступать, кто уже устроился работать, кто собирается в армию. Что еще? Ах да, вспоминали выпускной вечер, смеялись над неленым нарядом Аньки Сурковой. Да нет, все было нормально.

И вдруг Антон совершенно ясно увидел картину: лежит на дороге безногий калека, крутятся колеса тележки, к остановке подходит автобус. Антон усмехнулся. Ах, ну да, ну конечно! Он поступил плохо: вместо того, чтобы кинуться к инвалиду, он бросился к автобусу. Но ведь Антон видел, что поднимать калеку ринулись другие люди.

Дурь какая-то. Это все оттого, что нервы расшатались. Меньше надо по ночам думать о смерти. Даже не думать, а припоминать. Яркая вешешка, черно-желтые круги, сужающиеся воронкой, и все.

Началось это тогда два тому назад. Бывало, что повторялось каждую ночь, иной раз пропадало и надолго. Сначала Антон не мог понять, откуда такое. Потом понял.

Ему было тогда лет семь. Они с мамой поехали к бабушке в деревню. Шли вдоль путей на станцию. Мама по дороге заговорила с приятельницей, а его, Антона, конечно, вынесло на рельсы. Он прыгал себе по шпалам и смотрел с интересом, как по соседнему пути идет электричка. Вдруг — трах! Эти самые черные с желтым крути — и все!

Уже потом ему отец рассказывал со слов мамы, как было дело. Мама ни разу с Антоном не говорила на эту тему. Отец тогда сказал:

— Запомни имя: Волков Илья, студент. Всю жизнь помни.

Пока Антон гулял по рельсам, смотрел на встречную электричку, сзади мчался товарняк. Мама смотрела в ту же сторону, что и Антон. Тут парень какой-то кипуч-

ся, толкнул Антона. Антон, отлетел в сторону, ударился головой и потерял сознание. А парень тот не успел прыгнуть...

Мама все это видела и впала в шок. Пока ее приятельница и прохожие несли Антона в медпункт, пока там его приводили в чувство, она не произнесла ни звука и только все крепче вцеплялась Антону то в руку, то в ногу, пока ее насильно от него не оторвали. У Антона было сотрясение мозга. Из-за этого он и в школу позже на год пошел.

А парень тот погиб.

Антон в детстве страшно гордился этой историей. И все ребята во дворе завидовали ему. Еще бы! Это ведь была настоящая опасность, настоящее приключение. Антон еще в своих рассказах, как мог, приукрашивал эту историю, так что он из нее выходил прямо-таки героем.

Когда Антон стал постарше, ему уже было неприятно вспоминать об этом.

И вот сейчас Антон думал. Почему же именно он, Илья Волков, тогда проходил мимо путей? Почему кинулся его спасать? Почему он, Антон, а не тот парень, сейчас дышит, ест, цвет? Ведь есть же какой-то закон в жизни. Не может все быть просто так. Значит, он передал свою жизнь ему, Антону. Значит, Антон сейчас живет вместо него?

Антон домел тротуар. Поднялся к себе на пятый этаж.

Мама с отцом собирались на работу.

— Антон, — окликнула мама. Она сидела перед триумом и привычными движениями подводила тушь ресницы. — Ты наконец возьмешься за учебники? У-ти, осталось меньше месяца до экзаменов. А ты еще толком не сказал, какой факультет тебе по душе.

— Угу, — буркнул Антон и направился в свою комнату.

— Постой! — Мама отложила кисточку. — Может быть, ты не хочешь в политехнический?

Антон хмыкнул, пожал плечами.

— Но ведь тебя осенью призовут. А вдруг, не дай бог, что с тобой случится? — Мама не глядя взяла в руки пудреницу, открыла ее. — Ты о нас с папой подумал? Ну давай мы поможем тебе с математикой. Это же так просто!

Антон молчал и мрачно сопел. Ему все равно, куда поступать: в политех, так в политех. Ну как объяснить маме, что засынаешь на второй странице учебника?!

Мама машинально закрыла пудреницу, сунула ее в сумочку.

«Так и не попудрилась», — отметил про себя Антон и пошел в свою комнату. В коридоре вдруг спросил у отца, открывшего уже дверь, чтобы уходить:

— А кто был этот студент, ну, который меня спас?

Отец удивленно глянул на Антона:

— С чего это ты? Столько лет прошло. Неужели помнишь?

— А все-таки?

— Ну, студент был, биолог, кажется. — Отец растерянно помолчал. — Не знаю. Хороший, видимо, был парень. Что бы стало с нами, если бы ты погиб, — голос отца дрогнул. — Да, — оживился отец, — он учился в университете, точно, на биологическом факультете. Только я тебя прошу, не напоминай об этом маме.

— Да, — сказал Антон, — конечно.

Антон принял твердое решение: хоть что-нибудь узнать об этом парне. Иначе он не поймет не только зачем, но и почему живет.

Единственная зацепка — университет. Антон туда и отправился. Разыскал деканат биологического факультета.

Элегантная дама, сидящая за крайним столом в просторной, заставленной шкафом комнате, на вопрос, не знает ли она адреса бывшего студента Волкова, учившегося более десяти лет назад, недоуменно пожала плечами.

Тут из угла комнаты раздался скрипучий старушечий голос:

— Подождите, Вера Владимировна, кажется, в те годы учился и доцент Ольховицкий.

Антон увидел маленькую старушку, которую сначала не заметил из-за груды книг, лежащих перед ней.

— Не знаю, и еще тогда здесь не работала. — Вера Владимировна с неусдовольствием уткнулась в бумаги.

Ольховицкий читал лекцию на подготовительных курсах.

— Какой такой Волков? — с неприязнью спросил он.

— Я его брат, — неожиданно для себя соврал Антон.

— Не было у него никаких братьев, — Ольховицкий с подозрением уставился на Антона.

«Эге! — подумал Антон. — А говоришь, что не знаешь».

— Двоюродный, — сказал Антон.

— Почему же у тебя тогда его адреса нет?

— Я из другого города приехал. Родители мои с его отцом несколько лет назад поссорились и адрес выкинули. А я хотел повидать тетку, — Антон чувствовал, что его заносит не туда.

— Ну-ка, мальчик, иди отсюда! У него отец умер, когда Илья еще пол стóл пешком ходил.

И прошел по коридору мимо Антона.

Однако Антон не отстал от Ольховицкого. Подкараулил на следующий день. Когда доцент увидел Антона, лицо его приняло кислое выражение. Антон разошелся.

— Дайте адрес! А то я все равно узнаю рано или поздно.

— Господи! — простонал Ольховицкий, — отвяжись! Не знаю я никакого адреса. На улице Тургенева он, кажется, жил.

— А что он был за человек?

— Слушай, мальчик, — говорит Ольховицкий, а сам смóтрит Антону в глаза грустно и прощуповенно. — Волкова я плохо знал. Учился на одном курсе, ну и что? Мы почти и не общались. И оставь ты меня, пожалуйста, в покое. — Резко повернулся и пошел.

Антон стал искать Волковых на улице Тургенева. В домоуправлении ему дали пять адресов. Антон сообщил, что ему нужен только тот адрес, по которому проживает пожилая женщина Волкова.

Подшел только один адрес. Он набрался духу и отправился.

Дверь открыла седая женщина, грузная, с красным лицом. Антон прямо так и брякнул:

— Вы мать Ильи Волкова?

Женщина опешила.

— Ну я. А тебе чего?

— Я из университета, — сказал Антон. — Мы собираем материалы о наших бывших студентах, совершивших героические поступки.

Сказать правду он не решился.

— Я, — ответила женщина со злостью, — не присут-

ствовала при этом. Не знаю. Спроси у тех, кто видел. — И хотела захлопнуть дверь. Антон даже схватился за дверную ручку.

— Ну пожалуйста! Расскажите мне о нем! Это очень нужно.

Женщина удивилась.

— Ладно. Проходи.

Она провела Антона в квартиру. Сразу видно: коммунальная — в коридоре из-за хлама шагнуть некуда. Женщина пригласила его в маленькую комнатку. Бедноватая комнатка. Мебель старая, испарившаяся. Ковер на стене тронутый модью. Запах нафталина. Женщина усадила Антона в обдрисанное кресло. Сама встала перед ним, обвела рукой комнату:

— Вот перед вами жилище героя! — И ее лицо еще больше покраснело. Антону стало нехорошо. А она уставилась ему прямо в глаза и пошла, и пошла, так, что он и слова не мог вставить:

— Ты что же, царень, думал: я сейчас тебе стану расписывать, какая я счастливая, что мой сын совершил героический подвиг? Дудки! Я всегда говорила и теперь говорю: не имел он права погибать! Никакого права не имел! Кой черт его понес на рельсы? Ах, нацан бы погиб? И черт с ним, туда ему и дорога! Так его дуре-матери и надо. Раззявят пасть! Я ей, матери-то, тогда же все прямо в глаза и высказала. Ты, говорю, сначала царя вскорми, вырасти, да без мужа, да одна, да с копейки на копейку. У тебя и муж, и квартира, и специальность. А я-то теперь куда? Ведь последняя опора... Она меня утешать. Дура ты, говорю, дура. Твоими утешениями под старость лет не наешься, не оденешься. Кто меня, старуху, кормить будет? Она мне деньги сует. Плюнула я ей под ноги и ушла. Всю-то жизнь свою я проработала. Да с малыми детьми-и-и... — Она уже рыдала. — Да заслужила у народу шестьдесят рублей! Теперь на старости лет работать приходится. Вот умру и похоронить будет не на что-о!..

Антон сидел и не знал, что делать. И одурел от такого натиска, и жалко было эту женщину. Да разве можно ее утешить? Он спросил:

— А он хороший человек был?

— Кто? Илья-то? — А сама в полотенце выморкалась, потом им же и лицо утерла. — Был бы хорошим сыном — сперва об старухе-матери бы подумал, потом

под паровоз кидался. Говорила я ему: работай, сынок, работай! Он — нет. Учиться — и хоть тут тресни! Только два годка после армии и проработал в заводе. Я совсем не против. Учись себе на здоровье. На то государство вам институтов пооткрывало. Да учись на заочном. И себе удовольствие, и матери-вдове материальное облегчение. Так нет: на дневное — и точка. Цельный год я терпела эту его учебу. Я хоть женщина и отходчивая, но тоже с характером. Вот тебе бог, говорю, вот порог. Иди сам кормись. А мне нечего по ночам электричество жечь! Ушел. И спасибо матери не сказал за все ее труды да заботы. А сам к Светке своей поселился. И на что они жили — бог весть. Ребеночка прижили. Он-то сам за два года раз пять ли, шесть ли к матери только и зашел. А она, бесстыжая, ни ногой. Уж где-то за месяц перед смертью он ее бросил. Соседка ее сказывала — приревновал, видать.

— Как бросил?

— Так и бросил. И давно пора было. Не успели Ильишечкины косточки остыть, как, слышу, она уж за Сеньку Вагужева замуж выскочила.

— Значит, он перед смертью к вам вернулся?

— Как бы не вернулся! Плохо ты моего Ильишечку знаешь. Что с ним говорить, что об стенку лбом. К Славке Стешину поселился, вон, в соседнем доме живет, во второй квартире. Так мы с Валькой и остались куковать вдвоем.

— С какой Валькой?

— Как с какой? Да с нашей — Ильишечкиной сестрой. — Она вдруг будто опомнилась, глянула на Антона с подозрением:

— А ты кто будешь-то?

— Студент, я же вам говорил.

— А зачем вам о героях-то надо знать?

— Чтобы помогать их родным и близким, которые нуждаются. — Антон и сам не знал, почему произнес эти слова.

Тут она как заорет:

— Где это вы, бесовы дети, одиннадцать лет были? Да пячего мне с вас не надо! Оставьте вы меня в покое! Ходят тут всякие, рану солят. — И выставила его чуть ли не в тычки.

Домой Антон шел пешком, под дождиком. Шел весь какой-то расслабленный. Ему было грустно. Что за че-

ловек был этот Волков? Матери с сестрой не помогал. Женщину с ребенком бросил. А его, Антона, спас...

Друг Илья Волкова Стешин — мужик компанейский. Усадил Антона за стол. Жена подала чай в красивых фарфоровых чашках. Пока не накормил Антона, ни о чем говорить с ним не захотел. Потом закурил, устроился поудобнее в кресле:

— Илья я знал вот с таких пор. (Он отмерил ладонью полметра от пола). Вместе по двору бегали. Всяко было. Да знаешь, парень, дружба-дружбой, а потом бац — и в стороны. Вот, значит, как. И школу вместе кончали. Я точно знал: пойду к станку. Я из потомственных заводских. Династия у нас — Стешины. А Илья все мялся, все думал чего-то. («Так, — подумал Антон, — так!») После действительной мы все же в один цех пошли. Я присоветовал: ты, мол, думай себе, а пока поработай — там будет видно. Работал он хорошо. Через год уже норму гнал на сто двадцать процентов. Все бы ладно. Да Илья что-то задумал. Его все хвалят, просят опытом поделиться, а он только хмурится. Как сейчас помню, пристал как-то к Илье корреспондент с вопросами: как, мол, успех такой, да за что работу свою любите? А Илья ему прямо в лоб: работа, говорит, тупая, механическая, а быстро-де вкалываю — так деньги прибло люблю. Газетчик так и обалдел. А мы, было, принялись ржать, а потом глядим — не врет ведь Илья, и впрямь без сердца работает, как автомат. Все бы ничего. Да завелись у Илья не те мысли. Вот, дескать, не должны люди умирать в молодости, тогда и жизнь, мол, без смысла.

После этих слов у Антона стукнуло сердце и кровь забухала в голову. Стешин нахмурился, тяжело вздохнул и продолжал:

— Я сначала его поднимал на смех. Брось, Ильишечка! Жизнь и так коротка, зачем ты ее себе отравляешь? Ведь если все о смерти думать, так и жить охота пропадет. Так? (Это он уже Антону. Тот молча кивнул головой.) Ну, он и закрыл тему. Да я видел, что про себя-то он все равно думает. Я ужас пачал бояться, как бы он не того. — И Стешин покрутил крепким пальцем со сбитым ногтем у своего виска. — А потом я понял, с чего это он. На действительной прямо у него на глазах ларня задавило, грузовиком. Илья рассказывал.

Антон слушал и чувствовал, что начинает что-то по-

шимать, что-то очень важное. Но густой голос хозяина не давал ему как следует сосредоточиться.

— Ну вот, через эту самую мысль, чтобы люди не умирали в молодости, Илья и завод бросил, и подался на биологию. Я спрашиваю: сколько будешь зарабатывать с дипломом-то? Он мне: рублей сто двадцать — сто тридцать. Я так смею и грохнул. Дурень ты, мол, ведь уже сейчас по двести закалываешь. А потом премии, тринадцатая зарплата, за выслугу лет. Завод — это сила. А он только плечами пожал, улыбнулся мне, как ребятенку малому. Ты прав, — говорит, а сделал по-своему. Вот, значит, как. Когда он стал учиться, попятно, почти не виделось с ним, Интересы-то разные. Я волжился, дети пошли, получила квартиру. А Илья со Светкой сошелся. Жена это его.

Стешии, все так же хмурясь, всгал, прошлся по комнате.

— Значит, парень, я теперь все чаще думаю, что Илья не зря про смерть думал. Чувствовал, видать, что недолго проживет.

Он сел обратно в кресло, задумался. Антон попросил адрес жены Волкова. Стешии выписал адрес из блокнота на бумажку, отдал Антону. Потом стали рассматривать фотографии. Вот Илья в группе друзей-подростков. Певысокий, худенький мальчик, светловолосый, с прямым выражением лица, смотрит неподлобья. Вот Илья — молодой парень, крепкий, даже коренастый, улыбается. Вот Илья в армии, в ладно пригнанной форме, с погонами сержанта, зуб из-под фуражки, щурится от солнца.

Антон, по правде сказать, представлял его совсем другим. Таким же, как сам: длинным, поджарым, темноволосым. Когда Стешии открыл альбом, Антон подумал, что увидит лицо, глаза, в которых обязательно есть предчувствие трагической смерти. Хоть в какой-нибудь черточке, да непременно. А тут человек как человек.

Когда Антон уходил, Стешии на прощанье сказал:

— А ты молодец, парень! Хорошо умеешь слушать. Заходи, если что. Я тебе расскажу про завод, про ребят. А вообще-то тебе, наверно, неинтересно, ты ведь студент. — И долго еще стоял в дверях, нахмуренный, широкоспичный, смотрел, как Антон спускается по лестнице.

Бумажку с адресом Антон рассмотрел только дома.

Крупным аккуратным почерком на ней было выведено: ст. Калезная. Антон включил магнитофон, лег на диван и стал думать.

Станция Калезная была за две остановки от станции, где жила бабушка Антона. Значит, в то утро Илья торопился на эту же электричку. Он ехал к женщине по имени Светлана. Может быть, он хотел вернуться к ней навсегда? Всемогущий случай вытолкнул Антона на рельсы, чтобы эти люди никогда больше не встретились, чтобы не были счастлив. Зачем? Кому это было нужно?

И с беспощадной отчетливостью Антон понял, что их несчастье нужно было ему, Антону. Чтобы жить, чтобы сейчас лежать на диване, ощущать свое худое тело, свои руки и ноги, свои мускулы. Да, чтобы жить и думать о жизни. Антон провел ладенью по лбу от виска к виску и почувствовал под пальцами выпуклую твердость лобной кости, шрам под волосами.

Антон встал с дивана, прошлся по комнате. Нет. Он никогда бы не согласился умереть, чтобы тот парень остался бы жить. Даже если Илья и должен был жить, даже если бы он принес счастье женщине по имени Светлана и их ребенку, а Антон не принесет этого счастья никому. В конце концов, уж если так случилось, значит, жизнь Антона важнее жизни этого парня, Ильи Волкова!

Он бы с радостью бросил свое расследование. Ведь он же не виноват, что Илья бросился его спасать и погиб. Антон не просил его об этом. И зачем Антону, как сказала мать Ильи, «солить рану» людям, которые не сделали ему ничего плохого? Зачем еще сильнее травмировать свою душу? Но Антон уже не мог уйти от этого. Он уже знал Илью, его поступки, его лицо. Илья думал о том же, о чем думает Антон. И Антон не мог больше жить в этом тунике, из которого веда только одна ниточка — жизнь и смерть Ильи Волкова.

На другой день Антон поехал на станцию Калезную. Он без труда разыскал маленький домик с шиферной крышей. Дверь открыла белобрысая девочка лет двенадцати и сказала, что мамы нет дома и что она скоро должна прийти с работы.

Антон с часик поболтался около дома. Наконец он увидел женщину, которая направлялась к дому. Когда Антон взглянул на нее, он понял, что этой женщине

надо рассказать все. У нее были умные карие глаза и нервные губы со скорбно опущенными уголками. Он говорил горячо, волновался и путался. Он знал, что она поймет его.

Они долго бродили вдоль железнодорожного полотна, и она рассказывала:

— Мы с Ильей познакомились через его сестру, я была дружна с ней. Наверное, он не любил меня. Что греха таить, дело прошлое: я сама ему на шею кинулась. До сих пор не знаю, что я в нем нашла такого, что все на свете ради него забываю... Он был очень молчаливым. Иногда за целый день только и скажет несколько слов. Но мне было достаточно просто смотреть на него, чувствовать, что он рядом. Я особенно не думала ни о каком замужестве. Я была уверена, что мы всегда будем вместе. Брак мы не оформили. Даже когда появилась Аннушка. Это он ее так назвал в честь своей матери... Илья не хотел ребенка. Но я настояла на своем. Он мог подумать, что я это сделала, чтобы женить его на себе, а я просто его любила. Я хотела никогда не расставаться с ним, хотя бы в нашем ребенке. В Аннушке много от Ильи...

Сначала Антону было не по себе. Он не мог понять, почему эта женщина говорит с ним, с незнакомым человеком, так откровенно. Ни одна женщина еще так с ним не говорила.

Может быть, она отвечает откровенностью на его откровенность?

Они шли вдоль полотна. Крупная галька осыпалась под ногами.

— Я, конечно, была обижена на него, что он со мной вот так. Но я его не виню. Он не обманывал меня. Мы жили тяжело в плане материальном. Я брала шитье на дом, он время от времени разгружал вагоны. Но мы не жаловались. Мы были молоды. Правда, он все время сидел за книгами, что-то вычислял, писал какие-то формулы, и они с Сашей Ольховицким (друг у него такой был, славный человек) засиживались до полуночи.

«Опять этот Ольховицкий», — подумал Антон.

— Я раньше очень любила петь, слушать музыку. Но Илья сердился, что шумно. И Аннушка мешала ему. Маленькие дети ведь часто плачут.

— А чем он все-таки занимался?

— Я толком не знаю. Я ничего не понимаю в био-

логии. Знаю только, что он исследовал органические соединения, все хотел какой-то код размотать... Понимаете, Антон, мне с ним было тяжело. Он все со своей биологией. По дому мне совсем не помогал. Даже не ночевал иногда, говорил, что спал в лаборатории. Я ему и верила и не верила. Обидно мне было. У меня ведь грудной ребенок на руках. А я мечтала учиться... Наконец, мы с ним расстались.

Она замолчала, остановилась.

— Говорят, он приревновал вас к кому-то? — спросил Антон и испугался своей бестактности.

Женщина удивленно посмотрела на него и неожиданно засмеялась:

— А, понимаю... Вы были у его матери? Какая там ревность. Семья, мой муж, был влюблен в меня еще до Ильи. Он очень хороший. Переживал очень из-за Ильи. Злился на него, что он со мной не по-человечески. Сто раз предлагал пойти за него: и ребенка воспитаю, и выучиться помогу. Так все и вышло. Вот я сейчас преподаю в школе. Он очень хороший человек, очень хороший. А с Ильей мы расстались по другим причинам. Мешали мы с Аннушкой его работе. Отвлекали. Он к нам был по-своему привязан. Но не был семьянином. Да и я устала от вечной неопределенности. От сознания, что я мешаю.

Антон смотрел на молодую женщину, на ее удивительно нежный профиль, и ему на миг показалось, что она его ровесница и что они с ней выясняют давние, очень важные для обоих отношения. У него вспотели ладони. Он не понимал, как мог Илья расстаться с такой женщиной. Антону было неприятно, что она так спокойна. Ему захотелось, чтобы она была несчастлива и нуждалась в нем, в Антоне.

— Но ведь Илья ехал к вам в тот последний свой день? — сказал он.

Она опять улыбнулась:

— У меня оставались его бумаги и книги. Он, наверное, ехал, чтобы их забрать.

— Они сейчас у вас? — обрадовался Антон.

— Нет. Их забрал Саша Ольховицкий. Он в университете преподает. Они вместе с Ильей занимались у профессора Солина.

— И вы их отдали?

— Зачем они мне? — Потом пристально посмотрела

на Антона, прищурив глаза. — У вас хорошее лицо, Антон. С вами приятно разговаривать.

Всю обратную дорогу в электричке он грустил. Ему было жалко себя. Его никогда не полюбила бы такая женщина.

Когда Антон подходил к своему подъезду, он увидел кучку знакомых ребят, которые оживленно смеялись. Тренькала гитара. Раньше и Антон иногда подсаживался к ним. Хотя ему каждый раз приходилось преодолевать в себе чувство какой-то полорожности. Он не понимал, чем оно вызвано. Сейчас он просто кивнул головой, прошел мимо. Даже не услышал, как его окликавали. Он поднимался по ступенькам и думал о том, что ему, Антону, сто лет.

Несколько дней Антон куда-то не ходил. По утрам он с остервенением мел свой участок и думал. Чаще всего он думал об этом доценте, об Ольховицком. Надо бы пойти к нему, посмотреть бумаги Ильи, расспросить о том, чем же занимался Илья. Зачем нужно было Ольховицкому отрицать свое близкое знакомство с Ильей?

Перемотывая по привычке про себя все события минувших дней, Антон вспомнил, что Светлана обмолвилась: Илья занимается у профессора Салина.

Профессор жил на даче: крепкий дом под железной крышей, с просторной верандой, увитой плющом. На этой-то веранде и принял его профессор, крепкий еще человек с роскошной шевелюрой, почти не тронутой сединой. Его подвижное лицо в крупных морщинах странно контрастировало с молодежавой, подтянутой фигурой.

Да, Илья Волков он помнит. Это был один из самых его перспективных учеников. А в чем, собственно, дело?

У профессора были голубые в серых прожилках глаза. Он ласково и чуть насмешливо смотрел на Антона. Антон вдруг совершенно перестал стесняться и рассказал профессору все.

Жена профессора, Елена Михайловна, подавала чай. Присела. Внимательно слушала. Из сада доносился резкий аромат каких-то цветов. Профессор рассказывал:

— Илья Волков занимался у меня в лаборатории молекулярной биологии. Он был удивительно работоспособен. Мог работать по двадцать часов в сутки. Иногда он даже пугал нас своей одержимостью. Я вообще-то материалист, но у меня, как, впрочем, и у мно-

гих, кто с ним близко общался, было такое ощущение (мы это осознали, конечно, значительно позже), что Илья страшно торопился, будто боялся не успеть, словно предчувствовал, что скоро погибнет. Молодой человек, вы слышали что-нибудь о геной инженерии?

— Нет, — смутился Антон.

— Это, — наставительно продолжал профессор, — попытка создания новых сочетаний генов. Как это делается, я вам рассказывать, разумеется, не буду. Я думаю, что вы для этого разговора недостаточно подготовлены. Так вот, Илья занимался проблемой регенерации. Вы, конечно, знаете, что некоторые организмы могут сами восстанавливать утраченные ткани и органы. Морские звезды, например. Иной раз даже восстанавливать весь организм из одной его части. Вот Илья и задается целью: привить гены, несущие наследственную способность к такой регенерации, организмам, стоящим на более высокой ступени развития, а в конечном итоге — человеку. Представляете? Попадает, например, человек в аварию, и остается неповрежденной, ну, доложим, только четвертая часть его организма. И вот, имея в своих клетках этот ген регенерации, человеческий организм сам себя восстанавливает. И человек снова жив-здоров. Вы понимаете, конечно, что я несколько упрощаю, так сказать, делаю доходчивое.

Антон слушал профессора. Перед ним промелькнула калеска, лежащий посередине улицы, медленно крутящийся колесики тележки, встревоженное лицо мамы, шум несущейся электрички. И Антону казалось, что обо всем этом он уже слышал раньше от самого Ильи. И Антон понял, что давно уже знает, почему Илья кинулся тогда наперерез проезжающему поезду.

— Конечно, — говорил профессор, — наука делает только первые шаги в этом плане. Но Илья верил, что именно он сможет осуществить это на практике. Он еще успевав ходить на лекции к химикам. Темного занимался и медициной. Понимаете, Антон, этот человек многого бы мог добиться в науке, если бы не трагический случай. Простите, что я об этом напоминаю. — Профессор испытующе посмотрел на Антона. — Но были среди ребят в нашей лаборатории разговоры: кто-то сказал, что Илья не имел права жертвовать своей жизнью ради жизни одного человека, пусть даже ребенка. Ведь он мог бы, при удаче, впоследствии спасти

тысячи и миллионы жизней. И пусть даже не он сам, но он мог найти нужное направление в науке... Ну, а другие говорили, что, мол, еще неизвестно, открыл бы Илья что-нибудь или нет, а ребенка спас, живого, настоящего, а не абстрактного.

Антон слушал, и у него было такое ощущение, будто в его душе перемещаются пласты, будто оседает на дно вся мусть, а на поверхность всплывает то подлинное, давно решенное, чего он просто не мог разглядеть раньше. И Антон тихонько засмеялся. Потом смущенно посмотрел на профессора. Тот ничего не заметил, продолжал рассказывать:

— Я знал от ребят, что у Ильи родилась дочь и что он был этому не очень рад. Он считал, что она родилась слишком рано и он пока ничем не сможет ей помочь, если с ней что-нибудь случится. Понимаете, своего рода идея-фикс. Он был странный человек. Все уважали его и даже побаивались, но почему-то никто не любил.

— Но ведь и ты сам, — вдруг вмешалась жена профессора, слушавшая его с напряженным вниманием, — предпочитал ему Ольховицкого.

Профессор посмотрел на жену, пожал плечами:

— Ты ведь знаешь, Лена, с Ильей было тяжело. Он не нуждался ни в ком. Ему не нужно было помогать, лишь бы не мешали. Он все хотел делать сам.

— Он был намного талантливее твоего Ольховицкого, — настаивала Елена Михайловна. И Антона удивило строгое, даже гневное выражение ее лица.

— Ты несправедлива, Лена, — невесело усмехнулся профессор. — Илью уже не вернуть. А из Саши получится неплохой ученый.

— Но почему же он уже почти десять лет стоит на месте?

— Лена, ты ведь должна понимать, что у каждого человек есть свой потолок. Но он еще молод. У него просто кризис. Это может быть у всякого.

— У Ильи не было потолка. Не было!

— Конечно, ты всегда его отличала среди всех моих учеников. Я так до сих пор и не понимаю, почему. Ведь, извини меня, ты мало что понимаешь в нашей работе. Ты судишь о них по их чисто человеческим качествам. А Илью ты раза два, наверное, и видела, да и то мельком.

— Зато я прекрасно поняла, за что ты любишь этого Ольховицкого, — перебила его Елена Михайловна. — Ведь он тенью ходил за тобой. С каждой мелочью бежал к тебе советоваться. И всегда и везде: «Мы, под руководством профессора Солина...» Никогда не скажет: «Я сделал... я ошибся...» Как же, скромность украшает человека. Ах, Андрей, Андрей!

— Да, Саша скромный и вежливый человек. Что же в этом плохого? И при чем здесь я? — Профессор взглянул на Антона и неловко замолчал. Елена Михайловна взяла чайник для заварки, стала паливать себе чай — расплескала.

— Вот, молодой человек, — сказал профессор, — старые, наиболее важные вопросы не дают нам, старикам, покоя.

Антон ничего не ответил и стал прощаться.

Провожая Антона до калитки, профессор сказал:

— Теперь вы примерно знаете, чем занимался Илья. И если хотите сделать что-нибудь для его памяти, то...

— Спасибо, профессор, — прервал его Антон. — Я подумаю над вашим предложением.

Профессор удивленно посмотрел на Антона, но ничего не сказал и только покачал головой. Его глаза были ласковыми и чуть-чуть насмешливыми.

Спустя три месяца Антон шагал по улицам родного города в колонне призывников. Под ногами оскольчато потрескивал первый ледок. В утреннем сумраке малькнул шильд университета. Впереди Антона шел тощий паренек в ватнике. Он то и дело поправлял сползавшую с плеча лямку рюкзака. Сосед справа сумрачно сопел и все время оглядывался.

Антон твердо глядел вперед и думал о том, что теперь за каждым его делом и поступком стоит жизнь и судьба Ильи Волкова...



Игорь Муратов

* * *

Что хорошо, так это, что природа
С ее страстями, временами года,
Снежком и мелким дождиком грибным,
И острой смесью счастья и вины,
Загадкой жизни, и разгадкой смерти,
Заклеенной до времени в конверте
Судьбы, и кислой ягодой смородиной,
Переплетеньем космоса и родины, —
Она, со всем ее великолепьем,
Равна ко всем, — в чинах, в бегах, в отрешках;
В колонный зал лесов ее и заводов
Не надо пропусков готовить загодя,
В тот самый зал, где листья, кроны, корни,
Щенок недельный и философ — кровни,
Где ведомо деление едва ли
На умников и на безмозглых тварей...
Кто ей внушил устой демократии?
Испить из чаши каждому дает,
И захмелеть, и в миг один — узнать ее,
И не забыть уже на жизнь вперед.

* * *

На улице Полины Осипенко
Спилили тополя, как сдули пенку,
И улицу, под ноль сведя стволы,
И вместе с нею — Таню, Анну, Лёню,
И всех других, живущих в их районе,
Осиротили пением пилы.

Промолвила районная врачиха:
— И то сказать, убрали очень тихо
И разом — ровно под воду котят.

Бывало раньше — звону, канители,
И щепки выше дерева летели,
Теперь — прогресс, и щепки не летят.

Зачем и почему — нестройны слухи.
Кто говорит, что летом много пуха,
Кто поминает про «Вишневый сад»,
Про городского Росси и Растрелли —
Поднаторел, как видно, в этом деле
Любитель перспектив и эспланад.

Как просто быть умеренно ретивым
И рассуждать о неких перспективах,
Где — поубавить, где — совсем убрать,
И мыслить исключительно глобально,
Затем, чтоб в изумлении авральном,
То разбивать сады, то вырубать.

К чему нам на Урале эспланады, —
Снегам ли делать смотры и парады,
Закутываясь из последних сил?
Росли деревья, вопреки морозам,
В морщинах, трещинах, буграх венозных, —
Не пощадил, не поглядел, спилил.

Как водится, заметили, но поздно —
Без тополей куда-то делся воздух,
И вылез вдруг, едва их след простыл,
На фоне чисто выбритой природы
Безлиственный восторг архитектуры —
Кирпич, бетон, стекло, сиречь — пустырь.

...Я с детства помню эти тополя.
Казалось, отступала прочь земля,
А небо вверх куда-то уходило,
Летели листья, птицы... — ни стрижа,
И кроны, словно головы, лежат,
И наступает вечер торопливо.

ПАДЕРА

Падера — значит метель,
Падера — значит лететь,
Падать и подниматься,

Падера — это свирель,
Только с привычкой звереть,
И, заревев, улыбаться.

Юный вогульский божок
В спину наводит рожок,
Щеки зарей наливает,
Ты замышляешь — шажок,
Он заставляет — прыжок, —
Падеру в мир выдувает.

Что же в заботах его
Трогает пуще всего,
Что беспокоит и мучит?
Верно, как дети, стихи
Любят базары стихий,
Всякие вихри и тучи!

Вот она — воля стиху,
Шуба на рыбьем меху,
Рыбья парча снеговая, —
То засвистит на бегу,
То замолчит — ни гу-гу,
Будто бы не узнавая...

Юрий Беликов

* * *

Мне дан проклятый дар,
как дырка в атмосфере,
Течь в днище корабля,
брешь в крепостной стене,
И входит мир ко мне
сквозь запертые двери,
И то, что знаю я,
не знать бы лучше мне.
Природа так мудра,
вручая полузрячей
Нам душу, чтобы та
износ превозмогла,
И, может, потому
свой лик упорно прячет,

Чтоб жизнь для нас была
несведуще светла?
Но кто нарушил код,
дарованный природой,
Кто сыворотку ввел
иных пространств и лет
В меня
без дозы, той,
положенной по коду?
И клином журавлей
на мне сошелся свет!
Нет, это не ородни
наитью рудознатца,
Что с ивовой лозой
отыскивает клад.
Не ветка здесь,
а куст, уставший осыпаться,
Чьи ветви, как одна,
трепещут и шумят.

СТАРАЯ КАССЕТА

Меж прогалами текста,
просветами нотного стана
Пробивается гул,
Будто с луга альпийского,
как с пьедестала,
Кто-то в бездну шагнул!
Что за голос, мощный,
как Новгород мощью брусчаток,
Голосами другими
по ленте магнитной трубит
Журавлиным пунктиром?
Журчит из глубин глуховато
Пересохшей речушкой,
чей норов забыть?
Размагничены годы.
Какие — неведомо даже.
Лишь в прорывах меж туч
Луч мелькнет
и померкнет,
и музыка та же,
Только зябко чуть-чуть.

под языком таблетка аэрона, в руках готовое кулечек. Соседка ведет захватывающий разговор о дефиците:

— Взять ситец. По телевизору говорили, что он весь идет на производство длюолеума — как основа. А нам спать не на чем. Что нужнее: белье или этот панцирь на полу? Абсурд, какой абсурд!

Я улыбаюсь. Дело в том, что пьесу я написала абсурдистскую, хотя она в принципе про ситец, про белье и про жизнь.

Королев встречает меня по-королевски — с букстом гвоздик (это в марте-то!). Он все так же худ и сдержан, и если мог бы сойти за какого-нибудь короля, то только разве за английского.

— Неужели я в Москве! Семь лет, семь зим!

— Как ты все-таки вырвалась?

— С нервами дальше некуда...

Мы садимся в такси, я еще продолжаю размахивать руками и что-то обсуждать, но Королев не слушает:

— Пока расслабляйся! Голову немного набок — вот так. Руки свободно. Отдыхай.

Понедельник.

Я стою перед Министерством культуры, зданием почти духовным, хотя и материальным. Волнуюсь. Вхожу. Снимаю пальто. Гардеробщик принимает его, привычно взглянув на этикетку у воротника — иностранное или нет. Я в свою очередь смотрю на его огромные ручки, испещренные наколками. На левой кинжал, сверху крупно: «Помни Толя». Снизу мелко: «брата Колю». На другой руке витиевато и загадочно: «Нет счастья на Луне». Я спрашиваю:

— Почему на Луне?

Отвечает, что исполнено, когда американцы на Луне детали и жизни там не нашли.

Поднимаюсь на четвертый этаж — в репертуарную коллегню.

— Что вы хотите? — спрашивает меня на ходу министерского вида дама с папкой под мышкой.

— Пьесу привезла. Вот. Из Перми.

— У вас есть договоренность с местным театром?

— Нет. А нужно?

Дама, энергично выталкивая меня, скороговоркой:

— Когда есть договор, мы быстренько рецензируем, быстренько определяем степень художественности, ка-

тегорно оплаты и все! Так что давайте поезжайте обратно и договаривайтесь!

— Дело в том, что... Пьеса абсурдистская, в провинции ее едва ли...

— Из Перми везут абсурдистскую пьесу! Абсурд!

— А что?

— Нам такие не нужны.

— А какие?

— Про жизнь.

— Так у меня про жизнь тоже. И даже философская...

— Что делается! Из Перми везут философию!

— Да что вы имеете против Перми?! — пошла я в наступление, но она тотчас заслонила свою грудь папкой, как щитом, и позиций ни на шаг не сдала.

Девушки за столом спокойно созерцали нашу перепалку, не выказывая мне сочувствия, но и не поддакивая своей начальнице. Это меня как-то поддержало.

— Распутин вон вообще в Иркутске живет! — сказала я.

— Распутин! Я вижу, вас не смущают никакие сравнения! Да когда он пришел в театр, имел солидный багаж!

— Какой багаж? — растерялась я.

— Духовный, конечно! А вы говорите!

— Но и он когда-то пришел с первой вещью.

— С первой вещью идут в журнал, а не к нам.

— В журнал? С пьесой?

— Говорю вам — получите плохую рецензию.

Сдаюсь. Ухожу. Дама, обогнав меня, спешит куда-то по коридору: вдруг останавливается, оборачивается, назидательно провозглашает:

— Не воображайте, что вы одна пишете пьесы! Мы рецензируем тысячу сто пьес ежегодно. Полятно?

Мне ничего не попятно. Если так рецензируют, как мою, то... Звоню Королеву на работу и жалуюсь на жизнь. Он традиционно советует:

— Ничего. Пока сядь, расслабься.

Вторник.

Подхожу к театру на Таганке. Я полна надежд: все-таки самый современный театр. Здесь знают толк в искусстве. Здесь вон зрители с утра спрашивают лишние билеты! С крыши театра неожиданно падает полутонная глыба снега и, никого не убив, с уханьем разбива-

ется на мелкие кусочки. «Чудеса начались, может, к счастью». — думаю я.

Вхожу. Сидит вахтер. Глаза библейские какие-то, поэтому я сразу верю его словам насчет того, что сегодня у них в театре выходной.

— А вы что хотели?

— Пьесу привезла.

— А какая у вас пьеса?

— Э-э... Про жизнь.

— Нам не подойдет. Если бы что-нибудь философское, абсурдистское. В общем — гениальное.

— Насчет гениальности. У меня есть только одно доказательство — она мне явилась. Вся, в четырех действиях. Астральное доказательство.

— Вы в ЭТОМ понимаете?! Здорово! Какой у вас знак?

— Чего?

— Зодиака?

— Я родилась...

— Это... между быком и козерогом, так, эмм...мм... Ага! Вот! Это значит: «Проблемы Толстого и Достоевского одновременно». То, что нужно.

— Смотрите-ка! В этом что-то есть. Действительно, одновременно. Да-а...

— Вы оставьте пьесу. Я постараюсь кому-нибудь передать. Ах, какое название! «Рой»! Блеск! Запишите мой телефон.

— Домашний?

— Нет.

— Рабочий?

— Нет.

— Какой-нибудь астральный?

— Обязательно. Я позирую тут, одному, для Христа. В общем, звоните в четверг утром. Успею еще вашу вещь ребятам показать своим, они стосковались по работе. Совсем нет современных пьес.

— Они у вас где, ребята-то?

— В ГИТИСе, где еще. В общем, звоните, вы мне понравились. Вы замужем?

— У меня трое детей.

— Это ужасно.

Среда.

Служебный вход Художественного театра. Осторожно пробираюсь между каких-то труб. Вдруг прямо из-

под земли вырывается столб пара, я отскакиваю, но тут же на ноги мне из-под огромных ворот вытекает лавина горячей красной жидкости. Репетируют они, что ли? Благополучно взобравшись по лестнице, вхожу. На вахте седая интеллигентная старушка.

— Здравствуйте. Мне бы заведующего личностью.

— Она только что ушла. А что такое?

— Я пьесу передать.

— А какая у вас она: современная или из исторической жизни?

— Современная.

— Это хорошо. Нам очень нужны современные.

— Если я оставлю, вы передадите?

— Обязательно. Как она называется?

— «Рой».

— «Рай»?

— Нет, «Рой»... это так, это рабочее заглавие, неважно...

— Но почему какой-то «Рой»? — недоверчиво тянет вахтерша.

— Это... это вытекает из содержания.

— Ну, я почитаю, — снисходительно пожимает плечами.

— Вы?

— А что тут такого? Не думайте, что мы за семьдесят рублей здесь сидим! Мы за любовь свою сидим. И театр понимаем!

— Да я ничего, я не к тому... Просто. Оригинально у меня складываются отношения с театральными вахтерами...

Ох, пьеса, моя пьеса! Долго ли ты будешь шуршать крыльями в руках человеческих или взлетишь наконец, вырвешься на свободу, на подмостки, пропоешь на весь мир?! Как мне вывести в люди свое детище, как сосватать ее какому-нибудь режиссеру, такому, чтобы не очень ее притеснял, а полюбил бы всей душой, нарядил в достойный наряд и вывел на сцену?!

Такие мысли одолевают меня весь вечер, несмотря на то, что Королев упорно призывает расслабляться.

Четверг.

Я снова на Таганке. Волнуюсь: прочли или не прочли? И что скажут. Вхожу. Сразу замечаю, что моя рукопись, расхристанная, валяется на столе вахтера. Конечно, бумага папиросная, мнется быстро, но все-та-

ки неужели нельзя поаккуратнее. Нехорошие предчувствия одолевают меня. Другой вахтер (может быть, тоже студент) равнодушно смотрит, как я начинаю разглаживать листы и прижимать их к сердцу. Робко спрашиваю:

— Значит, не захотели читать мою пьесу?

— Почему же, читали-и, — басит он.

— Значит, не понравилась?

— Почему же, понра-а-авилась.

— Тогда что получается: со мной не хотят разве поговорить, посоветовать что-нибудь, кто читал-то?

— Пожарник вон читал, — и показывает рукой на сидящего поблизости пожарника, судя по всему, третьего студента.

— Пожарник?

— У нас литчасти нет. А режиссер пьес не читает. Мы вообще прозу все время ставим, вы разве не заметили?

В растерянности я набираю номер позавчашнего вахтера:

— Алло! Это вам авторша из Перми позвонила...

— Да-да! Я вас прочел. Но театру это не подойдет. Не совсем отработано. Я обычно такие вещи сначала переписываю в прозу, а потом снова в пьесу.

— Да? А может быть, вам следует цепочку удлинить?

— Как?

— А так: в прозу, в стихи, потом в серию комиксов, ну и обратно — в пьесу.

— Да вы не расстраивайтесь! Хотите, я вас на спектакли в наш театр проведу? Могу на любой.

— А вы какой валютой берете?

— Никакой. Бесплатно.

— Так я и думала, что астральной. Что ж, я согласна, хоть расслаблюсь.

Пятница.

Я уже спокойна. Будь что будет. Вхожу в «Современник». Сидит вахтерша. Я автоматически выпаливаю:

— Мне к завлитчастию. Привезла пьесу. Из Перми.

— А разве есть такой город — Пермь? Это что — за Полярным кругом?

— Нет. Да. Это на Урале.

— На Урале?

— Конечно. Неужели не слышали? Астафьев еще от нас вышел.

— От вас? Да он, наверное, просто жил у вас, а Астафьевым уже стал сам по себе.

— Так можно мне пройти к завлиту?

— Нет, ни в коем случае. Позвоните вот по внутреннему телефону... Ну, что она говорит? Репетиция? Оставить машинистку? Вот здесь подпишите: Боголюбовой. Что вы пишете?! Не Боголюбовой, а Богомоловой. Не то! Пишите: Богоявленской. Нет, честное слово, провинциалы сразу видны... Что с вами?

— Ничего, голова...

— Что голова? Да вы полностью побелели? Вызвать «скорую»?

— Да. Это криз, ничего страшного...

— Сейчас, сейчас! Да что же это!

...Когда «скорая» уезжает, я вижу, как вахтерша убирает со стола остатки стеклянной ампулы, заваривает чай:

— Ведели чаю сладкого, вот, пожалуйста, что это вы такая слабенькая и пьесы пишете, не женское это дело, я и то смотрю, женщина что-то написала, как будто мало уже написано, а пальтишко-то, вам бы одеться получше, да вы пейте, пейте...

— А можно от вас позвонить?

Телефонный разговор.

— Здравствуйте, это Художественный театр?

— Да. Литчасть слушает.

— Вам передали мою пьесу? «Рой»?

— Да. Я прочла уже. Дважды прочла. Очень понравилась! Это которая ваша пьеса — по счету?

— Первая.

— Не может быть!

— В самом деле. До этого я рассказы все...

— Потрясающе! Зачем рассказы! У вас талант драматурга. Но...

— Что «но»?

— Мы не можем взять пьесу незнакомого автора, вы понимаете?

— Понимаю, — отвечаю я, хотя ничего не понимаю.

— Но вам нужно писать. Обязательно писать вторую!

— Да?

— Да. И знаете что... Если есть у вас в жизни что-

нибудь светлое, пишите об этом. Все-таки театр — это луч света в темном царстве. А первая пьеса у вас слишком мрачна. Есть светлое? Вы меня слышите?

— Да. Нет.

— Вот и пишите! Желаю вам удачи. А неизвестного автора мы поставить не можем.

— Значит, вы считаете, и нигде в Москве не возьмут?

— Я считаю, что в провинции ее точно не возьмут, нужна столичная коррекция и... Очень уж мрачно у вас все.

— Но там целых два положительных героя!

— А отрицательных сколько! В процентном отношении очень-очень мрачно. К тому же героиня, она, конечно, добрая... упрощенно говоря, но... она живет такой тяжелой жизнью. Жизнь-то у нее слишком тяжелая. Отсюда еще мрачнее...

Суббота.

Третий час сижу в театре на Малой Бронной. Вахтерша объяснила, что у завлита выходной, но главный режиссер здесь, ведет ренетицию, нужно ждать. И я жду. Расслабляюсь. Мимо меня ходят знакомые мне по кино артистки, фамилии которых я не помню. Но это не мешает мне примерить каждую на ту или иную роль в моей пьесе. Некоторые очень подходят. Особенно одна высокая блондинка — прямо главная героиня и все тут. Я даже с опаской гляжу на длинный шарф, обмотанный трижды вокруг шеи и все равно свисающий чуть не до полу. мода модой, но страшная гибель Дункан меня пугает. Мысленно заклинкаю эту актрису не ездить в открытом автомобиле и беречь себя для моей пьесы... Время от времени появляется буфетчица с кроссвордом в руках и спрашивает:

— Театральный художник на шесть букв, первая — Я.

Все молчат.

— Якулов, — робко отвечаю я.

Буфетчица примеряет «Якулова», смотрит на меня с уважением, предлагает зайти в буфет и перекусить. Но я боюсь уйти с поста наблюдения. И хорошо, что не ушла. Вот спускается величественный старик. Я бросаюсь к вахтерше, шепотом:

— Это режиссер?

— Нет, это артист Броневои.

И она потеряла ко мне всякий интерес. Что за курица — пьесу написала, а Броневого не знает. Самое обидное, что я его знаю, только в кино он совсем молодой... Но вот на лестнице появился наконец другой мужчина: в замше, усталый и значительный. Я снова к вахтерше:

— Режиссер?

— Нет, это наш завхоз.

Он направляется сразу ко мне:

— Вы от Василия Ивановича?

Нет.

От Ильи Петровича?

Нет, нет, не беспокойтесь.

Он смотрит на меня пристально, отводит в сторону.

У вас муж есть?

— Что? У меня такой вид, да? А ведь действительно: продаю, продаю, никто не покупает... Есть муж, есть.

— И дети есть?

— И дети. Трое.

Замшевый завхоз оторопело смотрит на меня, потом восхищенно:

— Темпераментная!

Я отскакиваю от него, высказываю из театра. Следом голос вахтерши:

— Подождите! Куда вы! Спустился главный режиссер...

Я уныло возвращаюсь и что-то невнятно бормочу в лицо главному: что оставила троих детей, что привезла пьесу, что, по его книге суда, он ищет современную пьесу... Он слушает меня, берет машинишес и устало отвечает:

— Хорошо. Звоните мне. Я вам что-нибудь скажу.

Забыв записать телефон, я еду за билетом. Пора домой, к детям.

Воскресенье.

— Мама приехала!!!

Прибежали все. Чмоки, смех, визг, шум, кто-то даже мяукает. Старшая несет свою тетрадь по письму:

— Смотри: большая пятерка!

— Ты все еще не понимаешь: дело не в размере, а в самой оценке. Поняла?

Она моментально переводит разговор:

— Ну как, приняли твою пьесу?

— Нет, детонька, не приняли.

— А что говорят?

— Мрачная слишком.

— Ну вот! Я говорила, что сказку про белое-черное радио и гроб на колесиках не нужно вставлять, а ты все: расскажи да расскажи! Ты сильно расстроилась? Мы тебя сейчас развеселим! У нас появился котенок!

— Что? Я сойду с ума. Если бы мы хоть жили на первом этаже!

— Не беспокойся. Он ходит прямо в унитаз.

— Если бы еще за ручку дергал!

— Мама, этот котенок вырастет и будет ловить мышей.

— Но у нас нет мышей.

— Мы разведем.

— Это уже другой разговор. Тогда пусть остается Света, не плачь, котенок останется у нас. А я напишу пьесу для детей — светлую. Иди ко мне, моя маленькая!

Но маленькая не обращает уже на меня никакого внимания, она гладит котенка, приговаривая: «Иди ко мне, к своей маме! Я мама, ты — мой сыночек».

Испуганно кричу:

— Что с ребенком?

— Нормальная девочка, готовит себя к семейной жизни. Не всем же быть писательницами, правда?

— Вижу, как ты устал. Ну, иди, полежи, расслабься. Я дома.



Игорь Тюленев

ПРОДОЛЖЕНИЕ

И чадо чад моих
Возьмет букварь
И, протирая след под каждой буквой,
Пыхтя от прилежания,
Как встарь,
Начнет читать, то с радостью,
то с мукой.

Язык постигнет,
и поймет глагол,
Высокий слог
и тяжесть русской речи,
Словами облакая этот дол
И дом,
И предков,
И любимой плечи!

УРАЛЬСКАЯ ЯШМА

В округе
Лишь горы да камни,
Потоки и валуны,
И зрячими нужно руками
Коснуться зеленой волны,
Что в глыбе века бушевала
И, выхода не находя,
Так в бешенстве и застывала
До самого этого дня,
Когда под рукой камнереза
Свободу волна обрела,
Всей зеленью,

Свежестью среза
Взмывала
И в море звала.

Николай Бурашников

Я говорю себе: не спи.
Ты будешь спать года.
Высоких звезд не разлюби,
Не разлюби пруда.

Сойдя тихонько под угор,
На берегу ночном
Подслушай тайный разговор:
О чем они, о чем?

И Млечный Путь через века
По сердцу будет течь.
Свет языка, плеск языка —
Волнующая речь.

ДЕРЕВО И ТЕНЬ

В поле дерево похоже на старуху.
Ходит тень там старая по кругу.
В поле семя буря занесла.
Дерево росло, и тень росла.
Триста лет на близость ропщут богу,
А расстаться все никак не могут.
И чего им друг от друга надо:
Дерево лохмата, тень лохмата.
Дует ветер. Дальний гром гремит.
Дерево скрипит, и тень скрипит...

ДОЖДЕВЫЕ КАПЛИ

Стукнет капля в окно дождевая,
Вздогнет мрак, и — опять тишина.
Что хотела сказать мне она
В час, когда я уже засыпаю?

Вот еще одна звонко упала,
И душа встрепенулась на миг...
Словно знал я природы язык,
Да забыл. Тыщи лет миновало.

Галина Бачева

* * *

Туман густой повис над миром грузно —
Так думы неотвязные висят...
И сердце, переполненное грустью,
Тихонько просит: оглянись назад.
Где навсегда оставлен дом родимый —
Туда уже не приведут пути...
Во мне живет он, памятью хранимый, —
И болью в сердце, и теплом в груди.
Плывет тумана полоса сплошная.
И только сердцу виден смутный свет:
К родному дому тропочка лесная...
И жжет лицо слезы горячий след.

* * *

Еще февраль, еще от снега,
Как лебедь белый — свет земли.
Еще весна вдали, и с нею
Тревоги сердца там — вдали.
Но ветер ластится все чаще,
Напоминая о весне...
И вновь мне кажется, что счастье
Торит тропиночку ко мне.
Над Велвой зори — как над бездной.
И сердца так окрылено,
Что вновь полно счастливой песней,
От счастья — то в выси небесной,
То — как над пропастью оно.

Пер. с коми-пермяцкого
В. Болотова

ИЗБЫ

Гляну — радость в душу льется:
 Над построенной избой
 Дым печной впервые вьется,
 Чертом пляшет над трубой!
 Оглянусь — и гаснет радость,
 Мне обиды не избыть:
 Дом увозят, разбирают,
 Чтобы где-то подновить.
 Но всего больней, пожалуй,
 Нежилой избы тоска
 С многолетней и ржавой
 Мертвой тяжестью замка.
 Отрешенно и угрюмо,
 Будто спит или больна,
 С потаенной горькой думой
 Ждет хозяйина она.

ЖАЛОБА ОСЕНИ

Мчат журавушки поздние,
 Сыплют снегом на озими.

Гнутся ивы безлистые,
 Белым ветром просвистаны.

Снег на летней дороженьке,
 Снег на голой березоньке.

Только вспомнишь украдкою
 Лето с ягодой сладкою.

В поле вьюга да волчий вой,
 Дома — муж нелюбимый мой.

Ой, журавушки поздние,
 Мои глазоньки слезные!

Пер. с комп-пермяцкого
 А. Гребнева

* * *

Этого не было прежде:
 Третью неделю подряд
 Вижу глаза ваши нежные,
 Выбегу — звезды горят.

Брошусь, как в прорубь, в деревню,
 Что-то уснуть не дает:
 Слышу ваш голос за дверью,
 Выбегу — вьюга поет.

Скрипнет сверчок или дверца,
 Маятник маеты...
 Сердцем почувствую сердце,
 Выбегу — милая, ты!

* * *

Природа — замечали вы? —
 По самой сути музыкальна.
 Светла мелодия листвы
 С ее печалью изначальной.

Ну разве может лес шуметь?
 Леса не переносят шума.
 Звенят сосны басовой медь,
 Берез серебряные струны...

И если тихо подождать,
 Звучит, насыщенный озоном,
 Тот искрометный ритм дождя,
 С верховьев Камы привезенный.

Галина Дробинина

СТИРКА

Ой, ты стирка моя, стирка белая!
 Ой ли, прачка да я неумелая!

Кабы в стирке моей — не рубашка твоя,
наклонилась бы я — надломилась бы я.
Утомилась бы я, притомилася,
поясница моя разломилася,
руки белые опустились...
А рубашку твою, белоснежную,
не стирала я — миловала я.
Полоскала — любила да нежила.
Полощу, полощу — да заглядываюсь.
Полощу, полощу — не нарадуюсь!
Ой, стирала я, полоскала я —
да нисколечко не устала я!
Моя стирка бела, ой, белым-бела!
А и спинка цела, ой, целешенька,
руки белые, да умелые.
И сама-то я веселым-весела,
веселым-весела, довольнешенька!

* * *

Цветет черемуха...
Пошлю тебе черемухи букет.

Яблоня зацветет —
яблоню для тебя заломаю.

Сирень зацветет —
сирени для тебя нарву.

Настанет осень,
не будет цветов —
сама приду.

* * *

Есть же на свете люди,
настроение которых мало зависит от погоды.
Почему же я,
как одинокое дерево в открытом поле?
Подует ветер — трепещу,
пойдет дождь — плачу.

* * *

Я тебя не держу
причитаньем прощальным.
И не заперта дверь,
не построен забор...
Что стоишь у окна,
словно пленник печальный,
далеко устремляя
тоскующий взор?



Михаил Шаламов

ОРИГИНАЛЬНЫЙ УСАТИН ТОРОПОВА И ЛЕНЦА

Письмо, не написанное
в 1914 году

Уважаемые дамы и господа! Если у вас хранятся еще журналы прошлых лет, не поленитесь навеститься в чулан и смахните пыль с подшивки журнала «Нива» за 1906 год.

Внимательно перелистаем отделы объявлений. Нам интересуется единственное. Вот оно — скромно приоткрылось между рекламой самоучителя вегетарианства с интригующим названием «Я никого не емъ» и панегириком в честь патентованных геморройных свечей товарищества «Юргенсъ»:

Гарантированное вырощение усомъ
на всякой физиономіи

!!!!!!!

УСАТИНЪ «ПЕРУ»

!!!!!!!

Абсолютно безвредное, дешевое
и общедоступное
оригинальное средство

!!!!!!!

Продается во всехъ аптекарскихъ магазинахъ

!!!!!!!

Цена одного флакона — 75 копеекъ

!!!!!!!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОКЪ

Поставщики для всей Россійской Имперіи
гг. Тороповъ и Ленцъ
городъ Саратовъ

Вы разочарованы? Видит бог — зря! Сейчас я расскажу вам необычайную и, надеюсь, увлекательную историю об оригинальном усатине «Перу» и злоключенных его создателей.

Ах, да, я забыл представиться! Василий Гаврилович Торопов, собственной персоной.

* * *

Скажу сразу: изобрел «усатин» не я. Я даже не знаю точно его автора. Но семинарист Вася Верейский, который нашел этот рецепт в средневековой пикнуабуде и променял мне его на чудесную зольингеновскую бритву, уверял, что творец усатина — небезызвестный Самсон, сила которого заключалась не в волосах, а, вопреки легенде, в усах. Но, честно говоря, не очень-то я верю этому Вассе, известному в городе вралю и выпивохе.

До того, как судьба послала мне в руки рецепт усатина, я держал маленькую парикмахерскую на окраине Саратова и еще сводил концы с концами. С прекрасной немецкой бритвой расстаться было не просто, и если бы какос-то шестое чувство не шепнуло мне: «Бери, дурак! Такой шанс выпадает только раз в жизни!», — я до сих пор, наверное, прозябал бы в этой дыре.

Надо сказать, что приготовление первых доз усатина влетело мне в копеечку, но результаты были превосходные. Концентрированный усатин не за три-четыре, как говорится в рекламных объявлениях, а за один сеанс наводил клиенту такие уснищи, что сбрить их потом было не просто.

Вот тут-то и появился на сцене господин Ленц. В любом начинании, как известно, должны соседствовать инициатива и кошелек. Инициативы у меня хоть отбавляй, а вот кошелек, извиняюсь... А у господина Ленца есть. И довольно тяжелый. Этот-то кошелек и стал финансировать нашу маленькую фирму.

Г-н Ленц был захудалым дворянином из полуобрусевших немцев с замашками коммерсанта. Иван Карлович цукал свой капитал, казалось бы, в самые сомнительные предприятия, но какое-то безошибочное чутье помогало ему выйти из любой авантюры с прибылью. Коммерция намертво въелась в его сухое тело, и, казалось, не было на свете такой вещи, из которой не светил бы ему меркантильный интерес.

Когда я продемонстрировал действие своего усатина на его слуге Федоре и тот почти мгновенно обзавелся шикарными усами а-ля Бисмарк, г-н Ленц сделал пер-

вый взнос в мое дело, и с этой минуты фирма моя стала называться

«УСАТИНЬ «ПЕРУ» ТОРОПОВА И ЛЕНЦА»

Почему именно «Перу»? А чем это название хуже любого другого?

С тех пор, как саратовские модники убедились в правдивости нашей рекламы, от покупателей отбой не было. Нам приходилось разводить усатин водой, чтобы усы у клиентов не росли слишком быстро, и количество употребляемого препарата не уменьшалось.

Для начала мы приготовили двести литров снадобья и разместили его в загородном имении Ивана Карловича. Именно стало пахнуть, словно винокуривный завод (усатин настанвался на дорогом французском коньяке), и многие соседи начали частенько заглядывать к нам на зацашок.

Я забросил парикмахерскую, перебрался в усадьбу г-на Ленца и занялся исключительно усатином. Отвечал на письма иногородних клиентов, рассылал по газетам рекламные объявления, отвозил на почту запломбированные посылки с зельем. Между делом я экспериментировал, пытаюсь выявить новые свойства усатина, а Иван Карлович в это время с удовольствием наблюдал, как растёт его счет в банке, и обдумывал новые заманчивые начинания.

Федор тем временем по достоинству оценил отменный вкус хозяйского усатина. Каждый раз после изрядного возлияния он начинал тятотиться человеческим обществом и искал уединения. С угрюмой обреченностью пялялся он по имению, распухивал пятилетних усачей, пасмяшников г-на Ленца.

Федор вынул треть наших запасов, но Иван Карлович не обращал на это внимания. Дело в том, что мой компаньон вложил капитал в очередное сомнительное предприятие и, кажется, на этот раз прогорел. Иван Карлович вздумал осчастливить саратовских обывателей зверинцем и, как всегда, начал дело с размахом: выдвинулся из-за границы экзотических животных, но не учел одного — холодного российского климата. Зверье хирело и охотно дохло. Иван Карлович был просто в отчаянии.

Федор же процветал. Он здоровел с каждым днем. Яркий румянец играл на его щетиных щеках, а док-

тора не могли пайти и следа от застарелой грудной жабы.

Заметив это, г-н Ленц махнул рукой на мотовство и начал отпавывать усатином заморскую скотинку. Звери пили с удовольствием. Уже через неделю их было не узнать. Теперь это были не хилые чахоточные одры, а здоровые и жизнерадостные верблюдицы, антилопы, леопарды. Помню, с какой радостью встретил я это открытие. Еще бы! Наш усатин оказался панацеей от всех болезней.

С полным правом мог я воскликнуть во весь голос:

Нет больше насморка!

Нет больше чахотки!!

Нет больше астмы!!!

И все это — благодаря нашему усатиному!!!!!!!

Иван Карлович тоже был счастлив. Еще бы! Ведь он сберег свой капитал! Не веря своему везению, он двинулся и ночевал в зверинце. А злоупотреблявшие усатином животные тем временем стали вести себя странно. Они начали беспардонно спариваться, невзирая на вяды. О, как удивился бы господин Дарвин, доживи он до наших дней!

Когда появилось первое причудливое потомство, Иван Карлович был глубоко потрясен и не менее возмущен. К тому же, как человек крайне набожный, он был склонен видеть в горном козле с павлиньим хвостом явление божье и непотребное. А после того, как инльская крокодилица Прозерпина понесла от страуса, г-н Ленц и вовсе растерялся. Но, к его удивлению, перья небесные посыпались на голову, а деньги любимых саратовских мещан, сгоравших от желания взглянуть на удивительный зверинец. Г-н Ленц греб деньги лопатой. Сомнений и возмущений он себе больше не позволял, справедливо считая, что бог богом, а капитал капиталом. Мой компаньон настолько увлекся новым делом, что снова охладел к усатиному. Но наше снадобье нашло способ напомнить о своем существовании.

* * *

Как-то поздно вечером Федор, дыша усатиновыми парами, уныло мотался по зверинцу, курил трубку и цыкал на сторожей. Те отругивались спросонья, но с

пьянчугой связываться не желали. Федору было скучно. Сделав порядочный глоток из фляжки, он отправился искать укромное местечко для сна. И, конечно, не придумал ничего более оригинального, чем устроиться на ночлег в стойле зебробизона Проньки, мрачной твари, исправно продававшей по пятнадцати рублей в месяц.

Федор щелкнул Проньку по носу, дохнул ему в глаза дымом, обошел вокруг зебробизона и начал укладываться на сене. Перед сном нужно было выколотить грубку. Федор смело постучал ею по луковнице Пронькиного хвоста. Посыпались искры. Дико заорав, зебробизон вскинул задние ноги и долбанул обидчика огромным, размером с пивную кружку, копытом...

* * *

Утром некому было запрячь лошадь в хозяйскую бричку. Федора искали, но не нашли. Г-н Ленц посулил ему «драй таузенд тейфель»¹ и запряг кобылу сам.

Федор появился лишь к вечеру: бодрый, трезвый, с прекрасной окладистой бородой на месте вчерашней щетины. Одет он был во что-то жутко восточное и бесстыдно сиял дюжиной бриллиантовых перстней. Узрев слугу в таком виде, Иван Карлович плюнул и выругался по-русски.

— Сам ты выщипок собачий! — невозмутимо ответил Федор и хлопнул дверью.

Я поймал его во дворе, соблазнил бутылкой зелья и услышал такую историю, что волосы у меня на голове зашевелились и зашуршали под шляпой. Расскажи мне что другой, ни за что бы не поверил. Но за Федора я был спокоен. В нем фантазии меньше, чем в подшитом валенке.

Вот что рассказал мне Федор.

— И вот, когда этот самый Пронька, благословив его господи, звезданул меня по морде, я полетел черт знает куда. Потом что-то черное и мягкое перевернуло меня, как тряпку, так, что у меня нутро наружу полезло. Потом, вроде бы, полегчало, но до того спать захотелось!

Федор смачно зевнул и перекрестил багровый зев. Алмазы сверкнули.

¹ Три тысячи чертей (нем.).

— И каким макаром занесло меня в эту туретчину — не ведаю. Мужики там все носатые, злющие и не по-нашему лопочут. А бабы, те, как староверки какие, — до единой в черных платках. Даже глаз не видно.

Походил, потыкался пару дней. Потом, прости меня господи, согрешил. Благословил на улице кулаком какого-то нехристя и одолжил у него кошелек золота. Прижился у одной вдовы. За пару месяцев балакать по-ихнему выучился...

— Как это «за пару месяцев»?! — оторопело спросил я.

— Не перебивай! — цыкнул Федор и продолжал: — А еще через месяц султан мною заинтересовался.

— Какой султан?

— Ихний, турецкий! Прослышал он, что я усы умею выращивать. А ему это только и нужно. У него ведь гарем. Ей-богу, сто жен! То с одной поцапается, то с другой... Глядишь, а уж и все усишки повыдергали. Ну, я их ему усатином и навел. Наградил он меня по-царски. — Федор с довольным видом обзрел перстни на своих пальцах. — А потом баловать начал. Закупил у меня весь остаток зелья и давай им своих жен мариать. Они усицами обрастают, а ему весело. И мне хорошо! От султановых-то щедрот лавочку открыл, махонькую ковровую фабрику. Супругу завел молодую, не Матрине чета. Как сыр в масле катался. Вишь, в какое тело вошел! А потом как-то за обедом перца нанюхался, чихнул и здесь оказался. И больше ничего не знаю...

Я пошел пересказывать эту историю Ивану Карловичу. Тот — хохотать. А я ему об алмазах напомнил и о бороде, которая за день не вырастает. Стал мой компаньон серьезным, смекнул: не иначе деньгой пахнет. Устроил Федору допрос: где был, да как туда попал. А тот ему:

— Шваркнул меня Пронька по зубам, а больше ничего не помню!

В тот день Федор взял расчет, вставил золотые зубы и купил у грека Семирамиди ресторан «Гурья». Будете в Саратове — обязательно загляните. У него прекрасная кухня.

Но не об этом речь.

Задумался я, каким образом Пронька Федора в Турцию отправил. Похоже, без фокуса тут не обошлось. Решил поставить эксперимент. И поставил.

Ночью пришел я в Пронькино стойло, обмотал физиономию платенцем, сплел для храбрости усатина, получил, как положено, по зубам, так, что небо с овчинку показалось. Потом меня выкручивало, корежило, но недолго.

Опнулся я в степи. Но не походила она ни на русские, ни на малороссийские степи, которые мне приходилось видеть. Ковыля в ней не было, а была какая-то чужая трава, да у горизонта торчали чудные деревья, похожие на зеленые мухоморы. Пошел я к этим деревьям. Вечером, по духота — немилосердная, как перед грозой.

Ночь наступила внезапно, словно кто-то выплеснул склянку чернил. Страшно стало. Нет-нет, да и мелькнут вдалеке зеленые глаза, или закричит кто-то благим матом. Зверье.

Иду, пою во весь голос «Ведую акацию», а сам думаю, что нехорошо вот так-то помирать вдали от отчества. Особенно неприятно, конечно, когда тебя едят хищники.

Но хищники мною побрезговали. Добрал я до деревьев, запутался в колючих кустах, а потом вышел на полянку. Посреди нее — ручеек, а по бережку — здоровенные грибы растут. Вроде дождевиков наших. И светятся. Ярko так!

Пристроился я у ручейка, а когда от воды поднялся, гаяжу — на том берегу стоит крокодил. На задних ногах. Мне он с пожарную каланчу показался.

Я обмер. А он, этак деликатно, ко мне губами через ручеек тянется. Пробу снять. Пришлось, естественно, показать, что имеет он дело не с суфас на тарелочке, а с живым парикмахером, который бегать умеет.

Прыгнул я, споткнулся и угодила личностью своей прямо в грибы. От них такая пыльца поднялась! Я, наконец, полтора часа прочихаться не мог. А когда все таки прочихался, то не было уже ни ручья, ни крокодила, ни грибов. Перед глазами торчала только полосатая Пронькина холка, позолоченная нежными лучами восхода.

Задумчиво почесываясь (тело от грибной пыли нестерпимо зудело), я вошел в дом. Ранняя птичка г-н Ленц сидел уже за столом в гостиной, в жилете без стюртука, ждал завтрака и листал ведомости. Он встретил меня возмущенным возгласом:

— Каспади Фасилий! Какое кошунство! Ви только послушайт, что в газетах пишут!

Он поправил пенсне и прочитал со своим необычным акцентом:

—...В Тифлисе рука почного грабителя поднялась на одного из выдающихся носителей святого креста, главу местной церкви — экзарка Грузии, архиепископа Картапинского и Кахетинского...

Тут Иван Карлович, видимо, заметил сияк у меня на подбородке и спросил:

— Герр Фасилий, пошему у фас сияк и пошему фы фсе фрема чешетось, слофно у фас блэхи?

И тут я низверг на него фонтан своего красноречия.

Г-н Ленц мне, конечно, не поверил, но когда я выколотил из сюртука на клумбу под окном добрую пригоршню грибной пыли, которая после дождика в четверг проросла святыми дождевиками величистой пышкой, у нас состоялся повторный разговор. Теперь, козыряя неопровержимыми грибами, я отыгрался на Иване Карловиче, поставив в рассказ поединок с ужасными дикарями и раидеу со змеей, которую свободно можно было перекинуть через Волгу в качестве моста.

Компаньон благополучно переварил мое вранье, зажег факел и, войдя в стойло, немедленно сунул его под хвост бедному зебробизону. Двадцать пудов возмущенной говядины не преминули лягнуть Ивана Карловича в нос и тот потом долго горевал по этому поводу.

Тогда мы еще не подозревали, что путешествию в неведомые дали подвергается только человек, отведавший перед дорогой усатина «Перу», Премудрости этой науки мы с г-ном Ленцем постигали на собственной шкуре в прямом смысле этого слова.

Впоследствии каждый из нас совершил больше десятка путешествий во времени. Мы поняли, что Пронька посматривал нас именно в глубь веков, когда Ивана Карловичу выпало присутствовать на заклании Гая Юдия Цезаря. Он даже привез из древнего Рима кивжал Брута и украсил им пушистый персидский ковер над оттоманкой.

Чего мы только не испытали!

Меня хотели съесть живьем монахи средневекового Парижа, продавали в рабство бедунны. За г-ном Ленцем битый час бежал первобытный дикарь с каменным топором, а он, как пазло, все не мог чихнуть. Кажется,

проще простого: чихни -- и вернешься. А ведь не всегда получается! После этого случая мы стали держать при себе нюхательный табак.

Мы паташили из своих путешествий кучу разных вещей, пужных и непужных, ценных и бросовых. Это коллекционирование захватило нас, и охладели мы к нему только после того, как из какого-то леса, неизвестно в какой эпохе находящегося, я захватил огромное, с добрый бочонок, яйцо. Из этого яйца через неделю выдунулся допотопный ящер и начал свое знакомство с цивилизацией с того, что съел целного волкодава вместе с будкой и ошейником.

Нарушил наш молчаливый договор не тащить ничего из прошлого г-н Ленц. С одной из прогулок он вернулся очень взволнованный. По его рассказу я понял, что он попал в будущее. Впервые Пронька изменил своей привычке забрасывать нас в давно прошедшие времена.

В будущем воевали.

— Это было очень страшно, — рассказывал Иван Карлович, — гораздо страшнее, чем японский кампания! Фесде идет бой: пуфф! трах! Огонь, фзыфы и очень много покойник. И не поймешь, кто с кем фюет. Очень, очень страшно! Я фзял у один мертвый зольдат его финтофка. Она стреляет часто-часто, как пулемет...

Он сунул мне под нос странное ружье. Оно было очень короткое, короче даже кавалерийского карабина. Ствол был засунут в какую-то дырятую трубу, а снизу крепилась круглая обойма с невероятным количеством патронов внутри.

Смею вас уверить, господа, это было ужасное оружие.

Я осмотрел оружие и посоветовал г-ну Ленцу поскорее избавиться от него. Но тот и не подумал прислушаться к доброму совету, увес ружье в свой кабинет и запер в ящик секретера.

Четыре дня об ужасной находке не вспоминали, а потом, как-то за обедом, Иван Карлович сказал:

— Фчера я послал ф фюевный министрстф описание той финтофки. Это очень нофый и мощиый оружии. Нам за него офалют много тысяч. Ты, Фася, откроешь ф Санкт-Петербурх большой парикмахерский салон, а я займусь коммерцией.

Он потрепал по щеке зардевшуюся жену и добавил благодушно:

— Мария, скоро мы будем жить ф столице. Ты сможешь каждый зоммер возить детей отдыхать в Ниццу. О, Ницца, Ницца!..

Его бледно-голубые глаза увлажнились, и тень септиментальной задумчивости упала на челю.

Но шли недели, а ответа из министерства г-н Ленц так и не получил. Видели бы вы, как он томился душой!

— Да плюньте вы на это, — советовал я ему, — зачем искушать судьбу? Ваш «скорострел» войной пахнет, а не шуточной! На кой нам эта война? Нужна она вам, мне, вашим детям? Подумайте о детях, Иван Карлович!

Но он не успокаивался. Г-н Ленц то кричал о верности царю и отечеству, о патриотизме и справедливости, то принимался ругать на двух языках «глупи бюрократев».

Со временем я начал замечать, что все чаще и чаще в его разглагольствованиях начинает упоминаться Германская империя.

Фатерлянд — дас ист майн хэффнунг! Там меня понмут.

В такой нервной обстановке жили мы четыре месяца. Г-н Ленц ходил мрачнее зебробизона, жена его с утра до ночи жаловалась на мигрень, а ваш покорный слуга подыхал со скуки. Но когда я узнал, что Иван Карлович, окончательно разочаровавшись в деловых качествах русского чиновничьего аппарата, всерьез задумал уехать в Германию на рандсву с пемецким кайзером, я понял, что надо действовать. Ближайшей же ночью я пробрался к нему в кабинет, взломал секретер и выбросил эту злополучную штуковину в Волгу.

О, как рычал утром г-н Ленц! Неожиданно выяснилось, что он умеет ругаться по-французски и по-английски, впрочем, с жутким пемецким акцентом. Вот уж никак не ожидал от него таких познаний в языках!

Меня, конечно, в краже не подозревали. Вот что значит хорошая репутация! А Иван Карлович с той поры словно ошалел. Из каждой новой вылазки в чужое время он охапками ташал копы, кистени, алебарды, безразлично что, лишь бы это называлось оружием. Он

¹ Родина — вот моя надежда! (нем.).

отстранил меня от вояжей и пользовался Пронькой единственно.

Г-н Лени замучил зебробизона. Тот отошал, страдал от ожогов и держался на ногах только благодаря львиным дозам усатины. Сил у него заметно поубавилось. С каждым днем Пронька забрасывал моего компаньона во все более и более близкое прошлое. Однажды Иван Карлович признался, что побывал в позавчерашнем дне.

— Паршифый швайи кинул меня ф позафчера. Пришлось федуть дзер скот и снофа тыкать факел.

— Дали бы вы ему хоть неделю передышки! — жалея я зебробизона, — ведь того и гляди окочурится. Ему ожоги залечить надо...

Я не могу ждать, Фасилей, когда денги сами плафут ф руки! — обрывал меня компаньон и снова, в который уже раз на дню, лез в копошню.

Было воятно, что он не усноконется, пока не отыщет на замену пропавшему скорострелу что-нибудь подобное. Помешать ему я не умел.

Но в дело вмешалось провидение. В одно прекрасное утро, получив от Проньки традиционную зуботычину, г-н Лени исчез навсегда.

Я долго не мог объяснить этот факт. И только в прошлую пятницу в голову мне пришла великодушная догадка: измученный зебробизон лягнул Ивана Карловича так слабо, что тот отлетел в прошлое на долю секунды и приземлился на том же месте и в то же время, когда Пронька его ударил, и, естественно, снова получил по зубам, чтобы проделать это путешествие во второй, третий, десятый и стомиллионный раз.

Вот так окончилась эта история. Усатиновую индустрию я прикрыл в том же году, зверей распродал цыганам. Примерно тогда же отошел в лучший из миров так и не оправившийся от ожогов многострадальный зебробизон.

Пророчество г-на Лени сбылось. Я переселился в столицу и купил большую парикмахерскую в самом центре Питера.

Время от времени мне пишет соломенная вдова моего компаньона, которая уже четвертый год замужем за отставным гвардии поручиком Чешпоревым.

И сейчас, когда более семи лет прошло с той поры и над Европой нависла зловещая тень большой войны, я чувствую, что только слепая случайность помешала

ей стать предсмертной войной человечества. А что, если бы г-н Лени прислушался к моим опрометчивым советам и дал отдых зебробизону? Что было бы тогда?

Благослови, господи, ненасытную алчность человека, который летает сейчас по замкнутой временной баранке, получая по зубам сегодня, завтра, вечно!



Сергей Тупицын

Я ГОТОВ ОТДАТЬ ЗА ТЕБЯ ЖИЗНЬ!

Юморески

Он готов был отдать за меня жизнь. Не то, чтобы я от него этого требовала — он вполне устраивал меня живой, — просто он убежденно убеждал меня постоянно, что готов отдать за меня жизнь.

Чтобы поддержать в нем эту готовность, я стряпала, устраивала, как умела, наш быт, растила и воспитывала детей.

Он же находился в постоянной готовности и буквально изводил себя ею. Жизнь тем временем текла своим чередом, и становилось все очевиднее, что его готовность отдать ее за меня останется без надобности, впрочем меня это только успокаивало. Между тем я не была виновата, просто так уж вышло — наступил все-таки день, когда стало необходимо рискнуть жизнью, чтобы спасти меня.

И у него ничего не получилось. Нет, он не струслил, не проглядел, просто совершенно разучился отдавать.

Он все же отдал жизнь, но не за меня, а просто так, от перенапряжения.

А я выкарабкалась. Дети, знаете ли, заботы.

ТРЕНЕР

Я пришел в секцию впервые. Тренер оценивающе оглядел меня и вдруг неожиданном прямым ударом в челюсть опрокинул на пол.

Я встал, изо всех сил сдерживая слезы недоумения и обиды.

— Зачем вы так? — спросил я.

— Так нужно, мальчик, — сказал тренер. — Настоящему спортсмену необходимы сила и воля. — И спросил: — Еще придешь?

Я молча кивнул головой.

Он обучал меня секретам боя на ближних и дальних дистанциях, умению навязывать противнику свою тактику, подавить его волю и победить.

Как-то из сумки, куда я засовывал перчатки, вывалился томик стихов. Тренер поднял его.

— Это ты брось, — сказал он.

— Зачем? — спросил я. — Мне нравятся стихи.

— Это расслабляет, — возразил тренер. — Прикажи к чему спортсмену.

И я перестал читать книги.

Катя несколько раз встречала меня после тренировок.

— Ага, — сказал тренер, — вот почему у тебя бывают невыспавшиеся глаза. Это тоже придется бросить.

— Зачем? — спросил я. — Ведь я люблю ее.

— Это отвлекает, — возразил тренер. — Это будет мешать.

И я перестал встречаться с Катей.

Строго регламентированно тренер вел меня по жизни к финальному поединку. Я навязал противнику свою тактику, подавил его волю и уверенно выигрывал по очкам.

В перерыве между раундами тренер шепнул мне:

— Что ты с ним вознишься? Кончай бой покаутом.

— Зачем? — спросил я. — Победа и так за мной.

— Всякие бывают неожиданности, — возразил тренер, — а надо, чтоб паверняка.

Я кончил бой покаутом. Рефери сосчитал до десяти и поднял мою руку.

— Молодчина! — подбежал ко мне улыбающийся тренер. — Вот я и сделал из тебя настоящего спортсмена. Теперь ты скажешь мне за все спасибо!

Не знаю, как уж это получилось, но своим коронным, поставленным им же, прямым ударом я отправил тренера на пол.

Я БОЮСЬ

Выхожу из дома и боюсь, что соседский пес меня покусает. Обхожу его стороной.

Прихожу на работу и боюсь, что начальник на меня наорет. Во всем с ним соглашаюсь.

Иду на свидание и боюсь, что она скажет: «Нет». Молчу на эту тему.

Наконец решил — хватит. Хватит всего бояться.

Выходя из дома, цыкнул на соседского пса.

Он меня покусал.

Придя на работу, возразил начальнику.

Он на меня наорал.

Встретившись с ней, сделал предложение.

Она сказала: «Нет».



Владимир Пирожников

**ЖИВЕМ «ПО ЭЙНШТЕЙНУ»,
А МЫСЛИМ «ПО КОПЕРНИКУ»**

Полемические заметки

Наше время все настойчивее напоминает старую истину: писатель, представляя духовный авангард общества, обязан в осмыслении фактов идти по крайней мере на шаг впереди читателя, должен, хотя бы отчасти, быть, как говорили в старину, «властителем дум». Нынешняя ситуация такова, что читательская аудитория, все более искушенная, подготовленная, своими растущими запросами непрерывно подгоняет писателя, грозя превзойти его по глубине, по уровню мышления.

В «Мыслях о творчестве» Валентина Катаева есть такие строки: «Задачи современного писателя-прозаика значительно усложнились. Писать по-старому уже нельзя. Появляется и уже появилось множество новых предметов и понятий в производстве, в общественной жизни, в быту и в личных отношениях. А мы, писатели, подчас даже не умеем их называть!»

Ты, скажем, сядишь за стол, берешь в руки перо и пишешь о рабочем. Но ты не знаешь, какая разница между шпунтом и шплинтом и что это вообще такое... Тогда ты, разумеется мнящий себя классиком или почти классиком, говоришь себе: об этом писать не обязательно. И на бумаге появляется: «Дубовая дверь со скрипом отворилась». Вот теперь художественно! Так мы и жуем то, что для нас приготовили сто лет назад...» (Катаев В. Разное. — М., 1970. — С. 37.)

Качество литературы — это прежде всего качество мысли. А мысль питается знаниями. Глубина и достоверность человеческого характера, значительность того или иного события вырастают только на почве всестороннего, основательного знания проблемы. Именно этого — знаний — не хватает, на мой взгляд, многим нашим писателям для того, чтобы постигнуть многообразный, противоречивый лик сегодняшнего дня, многотипный образ нашего современника. И дело даже не в том, что писатель порой путает

«интуит» со «шллантом». Нередко приходится слышать мнение, что писателю и не надо слишком много знать, что «ученость», «книжность» лишь вредит художественному творчеству. Концентрация и интенсификация экономики, роботы и лазеры, атомные реакторы и космические корабли — все это, дескать, и полезно, и нужно, и по-своему интересно, но для настоящей литературы не годится, поскольку «нехудожественно». Вот супонь, сермяга, поскотина — это художественно, об этом классики еще в прошлом веке писали. Вот откуда происходит страшная картина, когда в век космоса и индивидуальных компьютеров литература потчует читателя рассказами о том, как «дубовая дверь со скрипом отворилась».

Без многосторонних знаний, широкой эрудиции невозможна подлинная культура мышления. Только она дает литератору право браться за перо, претендовать на внимание читателя. Только она может уберечь автора от опасности бескрылого эмпиризма, бытописательства, когда мысль пишущего застревает в поверхностном слое жизненных наблюдений, копаются в мелочах, цепляется за отдельные штришки и детали. Эти «мелочи жизни», рассыпанные там и сям, могут быть иногда весьма выразительны, любопытны, правдивы, но, не освещенные свежей, оригинальной авторской мыслью, они не в силах составить полноценную художественную картину. Поэтому бывает так: есть в произведении какие-то события, герои, сюжет, но нет главного — Литературы.

Одна из заповедей искусства гласит: каждый эмпирический факт должен быть точно взвешен, осмыслен, художественно переработан — только тогда он может стать фактом эстетическим. Эта задача требует немалых интеллектуальных усилий и от начинающего, и от зрелого мастера. Великий Гете не стеснялся признаваться, что самое трудное для него — это «тысячеглавая гидра эмпиризма», которая встает перед ним всякий раз, когда он берет в руки перо. Описать очень похоже пуделя, говорил Гете, не означает ничего, кроме того, что к тысячам уже существующих пуделей прибавится еще один. К сожалению, и наши дни «тысячеглавая гидра эмпиризма» иной раз слишком легко побеждает художника. Читая книги авторов, являющихся таковыми современниками, нередко видишь: за их плечами немалый и разнообразный жизненный опыт. Но опыт этот сугубо эмпиричен, не приподнят мыслью на необходимую высоту, автор творит по принципу: «что вижу — о том и пишу». В наши дни наблюдения еще способны, может быть, удивить, но потрясти читателя, открыть ему новые духовные горизонты, дать полноценную пищу для размышлений одними наблюдениями удается все реже, ибо мир и человек настолько усложнились, что сложность эта порой принципиально ненаблюдаема и требует достаточно изощренной работы мысли.

Когда-то, согласно учению Птолемея, исходящего из наглядных фактов, считалось, что Солнце и планеты вращаются вокруг Земли. Потом в долгой борьбе победу одержала модель Коперника, по которой Земля вращается вокруг Солнца. Для многих по сей день эта модель имеет силу и значение закопченного, бессспорного факта. Однако на самом деле модель Коперника в наши дни является столь же устарелой и примитивной, как и модель Птолемея. Ибо после Коперника был и Эйнштейн, показавший истинную сложность взаимоотношений Земли и нашего родного светила. В рамках общей теории относительности Эйнштейна вопрос о том, «что вокруг чего вращается», вообще не имеет смысла, поскольку в действительности Солнце и Земля вращаются вокруг общего центра масс, выписывая в пространстве сложную незамкнутую кривую, которая складывается из их собственного движения, возмущающего воздействия других планет, и т. д. Описание этой сложности в популярной форме уже давно снизошло из научных сфер в массовое сознание, но скажите, много ли найдется сегодня людей, которые, не являясь специалистами в релятивистской механике, понимают всю примитивность, условность и относительность привычной формулы: «Земля вращается вокруг Солнца»? Для подавляющего большинства модель Коперника и по сей день абсолютно истинна, будто с XVI века ничего не изменилось и никакого Эйнштейна никогда не было. Сложность, раскрытая им, просто игнорируется.

Сходная картина, к сожалению, наблюдается порой и в литературе: читатели живут в сложном, парадоксальном, противоречивом и относительном мире Эйнштейна, а писатель мыслит и изображает этот мир по Копернику, а то и вовсе по Птолемею, будто истинная сложность человека никогда художественно не открывалась, будто не было ни толстовской «диалектики души», ни противоречивых героев Достоевского. Особенно наглядно это проявляется там, где автор, ограничив себя элементарной схемой, берется за одну из ключевых задач литературы — создание образа положительного героя, нашего современника.

В критике не раз отмечалось, что образ передового человека наших дней, образ человека-труженика очень часто трактуется упрощенно. Нередко писатель призывает нас восхищаться своим героем всего лишь за то, что герой просто честен. Или добр. Или умен. Или любит работу. В характере такого героя, как правило, нет ни противоречий, ни конфликтных стыков. Сам себе он совершенно ясен. Проблемы для него если и существуют, то всегда где-то вдали, рядом, но никак не в собственной душе.

Подобных героев, несмотря на их явную заданность, критиковать нелегко. Создатели их часто прибегают к словесной акробатике: мертвую непротиворечивость, бесконфликтность, безжизненность персонажей они именуют цельностью, а литературную вторичность — следованием традиции. Стремясь избежать упреков критики, такие авторы при случае ревностно ссылаются на родословную своего героя, выводя ее от какого-нибудь знаменитого литературного «предка». Так, если речь идет о сельском человеке, родословная часто ведется от абрамовского Михаила Пряслина: вот он, дескать, коренной народный характер, человек-труженик. Но Пряслин далек от упрощенно-розовых героев. Пряслин у Ф. Абрамова — это и хозяин, и подневольный работник, и победитель, и жертва, фигура героическая и одновременно трагическая.

Спору нет, Пряслин — истинный труженик. Труд создает, возвышает, облагораживает человека — это так. Однако в определенных условиях он же обедняет и принижает личность, низводя ее к элементарной производственной функции. Вот как думает сам Михаил Пряслин: «Это ужас, оказывается, чистое наказание, когда голова работает. Все видишь, все замечаешь. В совхозе не так, дома не так. Газеты читаешь — опять из себя выходишь. А вот сейчас — благодать, чисто и ясно в голове, как в безоблачном небе. Все вымело, вычистило работой... Эх, болван, болван! — говорил себе Михаил с издевкой, как бы со стороны. — Напичкался, начертоломился досыта — и рад. Немного же, оказывается, тебе надо. Ну да удивляться тут нечему. Всю жизнь от тебя требовали рук. Рук, которые умеют пахать, косить, рубить лес, — так с чего же тебе голова-то в радость будет?» (Абрамов Ф. Братья и сестры. — М., 1980. — С. 443.) Что ни говори, а далековат Михаил Пряслин от той благодатной гармонии, которую непременно видят в «человечьем труде» иные писатели...

Под пером некоторых авторов тот простой факт, что человек честно трудится и любит свое дело, получает неоправданно самодевятое значение. Раз труженик — значит, непременно и по части нравственности безупречен. Такова одна из самых распространенных литературных схем. Вот повесть свердловского писателя С. Бетева «Главный подъем» (журнал «Урал», 1984, № 1). Образ главного героя — рабочего-железнодорожника, машиниста паровоза дяди Вани Кузнецова — выписан автором тщательного, с любовью. И действительно, дядю Ваню, этого основательного, крепкого рабочего человека, есть за что уважать. Хуже то, что взгляд автора на жизнь почти ничем не отличается от взгляда героя. Человек, как говорится, старой закалки и не шибко грамотный, дядя Ваня мыслит просто и ясно, без сложностей. Проблем для него нет. Но имеет ли право на такую простоту автор, наш современник?

Центральный эпизод повести таков: в разгар войны дядя Ваня и его зятя Костя, который работает на том же паровозе помощником машиниста, поручают провести тяжелый воинский эшелон, который ждут на фронте. В пути, на главном подъеме, случается поломка, поезд сбавляет ход. По инструкции дядя Ваня мог бы остановить состав, но время не терпит. жесткое военное распорядание надо выдерживать. И вот по команде старого машиниста Костя на ходу лезет в раскаленную топку паровоза, устраняет причину аварии, но сам гибнет.

«Если ты шкура — вертись логом, прикрываясь инструкциями, если человек от сегодняшней жизни — постыдай, как она требует», — думает дядя Ваня после гибели Кости. Сознание правоты облегчает тяжесть утраты и скрашивает старость дяди Вани. Совесть его чиста. Он убежден, что если надо, то одни люди должны быть готовы жертвовать собой, а другие вправе приносить их в жертву. Героя повести можно понять: весь строй мыслей дяди Вани несет на себе тяжелую печать войны, героической и страшной эпохи. Труднее понять повествователя, человека наших дней, который не находит ни в поступке, ни в образе мыслей старого машиниста никакого повода для размышлений. Нравственный кодекс дяди Вани без всяких оговорок и комментариев попросту берется и переносится им в наши дни как нечто неизменяемое, как образец, не подлежащий сомнению абсолюту, — так сказать, в наставление потомкам.

Но что могут похерить из него потомки, кроме представления о жестокости войны, убивающей человеческое в человеке? Ведь время неузнаваемо изменилось. Когда-то Достоевский, мечтая об идеальном, подлунном гуманном обществе, надеялся, что, принимая от человека готовность к самопожертвованию, такое общество скажет ему: «Ты слишком много даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не принять от тебя, ибо мы сам говорим, что в этом все твоё счастье; но что же делать, когда у нас беспрестанно болит сердце и за твоё счастье? Возьми же все и от нас. Мы всеми силами будем стараться поминутно, чтоб у тебя было как можно больше личной свободы, как можно больше самовыражения» (Достоевский Ф. Собр. соч.: В 30 т. — Л., 1973. — Т. 5. — С. 80.)

То, о чем мечтал Достоевский, находит свое воплощение в реальных чертах общества развитого социализма. Сегодня мы во весь голос говорим не только об ответственности человека перед самим собой, перед другими людьми и перед обществом, но и о нравственной ответственности общества перед человеком. Ныне, когда человек признан высшей ценностью, убеждение дяди Вани, что ради высших целей можно и нужно жертвовать другими людьми,

ми, оказывается высokonравственным лишь в каких-то редчайших, исключительных, экстраординарных ситуациях, которые и вообразить-то себе трудно. В наши дни, восхищаясь человеком, который жертвовал собой, мы нередко спрашиваем: а неизбежна ли была жертва? Нет ли тут чьей-то безответственности, вины? Почему возникла сама необходимость в подвиге?

Автор «Главного подвига» не принял во внимание наличие подобных вопросов. А жаль: из столкновения сегодняшней точки зрения и взглядов дяди Вани в повести могла бы родиться та реальная жизненная сложность, которая является главным условием художественной правды. Вместо этого С. Бетев откровенно любитесь своим героем, не находя в нем даже маленького изъяна. А ведь дядя Ваня по-своему тоже жертва, это нравственно покалеченный попойкой человек. Но всем ли он сегодня может быть образцом?

По-настоящему попытался понять и исследовать характер трудового человека пермский писатель В. Соколовский. В его повести «Старик Мазунина» (В. Соколовский. Повести. — Пермское книжное издательство, 1981) происходят не менее драматичные события, чем в повести С. Бетева. В 1937 году по долгу комсомольца Степан Мазунина сообщился в органы НКВД о том, что его брат в гражданскую войну служил у белых. Брата арестовали. И хотя Степан жалел брата и его осиротевших детей, в правоте своего поступка не сомневался и особых мук не ощущал. Вскоре, уже во время Великой Отечественной войны, судьба вновь жестоко испытала Мазунина: он вынужден был выстрелом оборвать жизнь советского офицера, которого разведгруппа немцев пыталась переиграть на свою сторону в качестве языка. Старшина Мазунин и на этот раз не сомневался, что поступил правильно, как солдат, не дал немцам осуществить их задачу — словом, «сполнил призыв».

Почему, однако, болит сердце у старика Мазунина, почему не находит он себе места, когда на исходе жизни, уже в наши дни, вспоминает и брата, и того офицера, и многое другое, в чем он когда-то был уверен? Не потому ли, что слишком поздно, только заканчивая жить, Мазунин начинает осознавать горькую истину: зло есть зло и остается таковым даже тогда, когда оно вынуждено, необходимо. И если Мазунину не в чем упрекнуть себя как комсомольца и как солдата, то как просто человек он обязан был еще тогда принять нравственные муки, которые неизбежно рождаются в чистой душе, сотворившей злое дело, — пусть по необходимости, в силу обстоятельств, но все-таки злое. Драма Мазунина состоит в том, что долгие годы он не хотел об этом думать. Подвигу герою повести С. Бетева, он утешал себя тем, что суровые

обстоятельства времени его вполне оправдывают. И вдруг на склоне лет ему открылось: не оправдывают! Или, во всяком случае, оправдывают не до конца...

Вот тут-то и пролегает та грань, которая разделяет мятущегося, мучимого совестью Мазунина от безмятежно доживающего свой век Кузнецова. Да, между ними много общего. Оба прежде всего люди трудовые, привыкшие уповать дело, которым выпало заниматься. И в труде, и в бою оба считают своим долгом поступать так, как того требуют интересы дела, его конкретные обстоятельства. Но, в отличие от Кузнецова, Мазунина на старости лет понимает, что интересы дела, цели «текущего момента», пусть даже самые благородные, не могут исчерпать многообразия и сложности всей жизни. Что существуют некие высшие нравственные ценности, которые твердо определяют границы добра и зла и не позволяют сменять одно с другим даже под гнетом исключительных, предельно жестких обстоятельств.

Если так, то, может быть, следует во всем и всегда придерживаться именно этих неизменных нравственных устоев, не обращая внимания на изменчивые обстоятельства? Такой вариант исследуется в романе В. Соколовского «Возвращение блудного сына» (Пермь, 1983). Демобилизованный солдат Красной Армии Николай Малахов приезжает в большой губернский город. Идет 1926 год. Безработица, голод, НЭП... Не найдя работы, почув под открытым небом, Малахов случайно попадает в банду воров и убийц, за которой давно охотится угрозыск. Но, оставаясь человеком честным, герой романа во всех жестоких переплетках стойко придерживается исконных крестьянских заповедей, вскаки направляет жизнь людей-грузчиков. Главный принцип этой морали бесхитростен и прост: надо лишь честно трудиться, делать свое дело, а остальное придет само собой. «Уверенность эта, — размывает в романе автор, — от трудолюбия. Создавая вещи обиходные и необходимые, такие люди немного просят взамен: так, доброго слова да хлеба. Однако в поисках хорошей жизни они, верящие, что все само собой устроится, — были бы руки да голова, — уклоняются от активных поступков, призывают по теленку, не больно-то обращая внимание на кипящие рядом водоворотники. Главная — найти работу да крышу над головой, а остальное как-нибудь образуется». (Соколовский В. Возвращение блудного сына. — Пермь, 1983. — С. 18.)

После долгих метарств Малахов, казалось бы, обретает желаемое — у него появляются дом, любовь, семья. Но счастье оказывается непрочным: Малахов гибнет, запутавшись в сложностях борьбы между угрозыском и бандой. Отчего же возникла трагическая путаница в жизни этого честного, доброго и трудолюбивого

человека? Оттого, говорит нам автор судьбой своего героя, что слишком далеки были патриархально-идиллические воззрения Малахова от реального борющегося мира, от сложности подлинной жизни.

Эту сложность хорошо понимает начальник угрозыска Войнарский. Для него нет абсолютно простых, с первого взгляда понятных людей. Каждый по-своему сложен, и каждому нужен особый подход. Этому Войнарский учит своих молодых коллег, в том числе и Семена Кашипа, который, едва познакомившись с ресторанным музыкантом Гольящепым, уверенно заявляет, что это просто «обыкновенный подлен». «Что я тебе отвечу?» — с грустью проговорил Юрий Павлович. — В чем-то ты прав, наверно. А все-таки скажи мне кто-нибудь, что я личность простая, без сложностей, — ведь обижусь. Вида не покажу, а обижусь. Мало ли чего время и природа в человеке не замешают! Вот разбираться во всем этом мы с тобой и поставлены». (Соколовский В. Возвращение блудного сына. — Пермь, 1983. — С. 119.)

Стремление разобраться, раскрыть человеческую душу на том уровне сложности, на котором она реально находится, характерно для В. Соколовского. Пусть еще не все получается у молодого писателя (рассмотренные здесь повесть и роман остаются пока, на мой взгляд, лучшим из того, что им написано), однако само желание выйти из рамок упрощенных литературных моделей и увидеть мир в его истинной сложности представляется весьма ценным. Там, где В. Соколовскому это удается, обидный, частный жизненный материал насыщается смыслом, обретает значительность, получает обобщенный характер. Так, из непритязательной на первый взгляд истории о чудаковатом старике Мазауине, из метаний Малахова, которые традиционно могут быть отнесены по ведомству приключенческой литературы, вырастает важный и актуальный вопрос: в какой мере жизнь, дела человека должны и могут подчиняться вековым, общечеловеческим нравственным законам, а в какой — сиюминутным и подчас жестким требованиям дня? Каково соотношение между непреходящими нравственными ценностями и теми правилами поведения, которые диктуются нам сегодняшними обстоятельствами? Отдавая дань сиюминутности, текущему моменту, покорно подвинуясь изменчивой злобе дня, не впадем ли мы в грех беспринципного приспособленчества, конъюнктурщины? Но, с другой стороны, исповедуя лишь некие всечеловеческие истины, не окажемся ли мы чужими в той борьбе, которая ежедневно кипит вокруг нас и требует осознанного выбора позиции?

Когда говорят об исконных, непреходящих нравственных идеалах, рассматриваемых литературой, обычно подчеркивают их де-

мократический, народный характер. При этом зачастую ссылаются на носителей народного духа, колоритные типы которых в немалом числе населяют современную литературу, особенно страницы так называемой деревенской прозы. Что ж, все верно: на каком-то этапе общественной жизни нам всем действительно было необходимо вспомнить, еще раз услышать те нравственные заповеди, которые излагали распутицкая старуха Анна или беловский Иван Африканович. Но затем наступил иной этап, и пришлось вспомнить, что носителями народного самосознания могут быть не только представители крестьянства, как это мнилось некоторым писателям и критикам, но, например, и рабоче. Более того: поскольку рабочий класс является, как известно, единственным до конца последовательным революционным классом, в том числе и в морали, то именно пролетарская мораль оказывается наиболее действенной и необходимой для нравственного здоровья общества. С позиций этой морали становится очевидными ограниченность, присутствующая стихийно сложившимся взглядам крестьянской массы, абстрактный характер ее гуманизма.

К сожалению, это понимают далеко не все представители деревенской прозы. По-прежнему немалое число писателей отдается некритическому любованию «исконными ценностями народного духа» вместо того, чтобы попытаться выяснить: а как эти ценности увязываются с многопроблемной практикой сегодняшнего дня? Что в них отжило и безвозвратно принадлежит вчерашнему миру, что нуждается в уточнении и переосмыслении, а что переходит неизменным в завтрашний день? Словом, речь опять же идет о новом, более высоком уровне понимания, о новом исследовании традиционных нравственных заповедей, направленном на выявление и раскрытие их реальной сложности.

Попытки такого исследования — пусть не всегда осознанно, чаще интуитивно — предпринимаются. Вот повесть пермского писателя М. Голубкова «Крайняя изба» (М. Голубков. Крайняя изба. — М.: Современник, 1983). Героиня этой повести, престарелая колхозница бабка Алина, поначалу может показаться очередной, набившей оскомину вариацией на знакомую тему. Сколько их уже было, таких вот мудро вещающих старух! Но, расставаясь с бабкой Алиной, мы ощущаем не что новое. Мы чувствуем, что автор отнесется к своей героине как-то по-иному, не совсем так, как это принято в традиционном каноне деревенской прозы. Читатель привык, что в подобной прозе автор прямо-таки благоговейно перед такими стариками и старухами, демонстрирует свое восхищение и преклонение перед их долгой и многотрудной жизнью. И в «Крайней избе» этого немало. Но все-таки определяющая тональность — другая: сострадание, грусть, жалость...

Да и как не пожалеть бабу Алину? всю жизнь честно работала, делала людям добро, жертвовала собой во имя близких, а что получила? Доживает свой век одна-одинешенька, в глухой деревне, на отшибе, в крайней избе... Чем заслужила она такой исход судьбы? Уж не этой ли своей безотказностью, безбрежной добротой? Изба у Алины крайняя, кто чужой ни идет в деревню — всяк сюда стучит. И Алина за свою жизнь никому не отказывала, всех пускала, обгоревала, кормила. Вот и на этот раз: «Ты чего не сдаришь, кого пускаешь?.. Может, дяде люди нагрывают?» — «Лихой человек — тоже человек, — отвечает Алина. — Как не пустить?.. Ко мне всяк стучится: и лихие, и тихие, и любве... Изба-то с краю».

Изба на краю деревни... Здесь, на краю, на границе, разделяющей мир обжитой и дикую глухомань северного леса, сильнее, резче противостояние родного и чужого, добродетельного и враждебного. От человека, живущего здесь, требуется не безотказная доброта, не готовность распахнуть дверь перед первым встречным, а трезвое сознание того, что мир живет в борьбе, а не в благодати, что за твоей избой стоит деревня, которую надо защищать от непрощеных гостей. А что же Алина? «Лихой человек — тоже человек», — по ее разумению. Вот и отцом ее дочери стал не честный работающий мужик из деревни, а тайно зимовавший в Алинной избе беглец из мест заключения. Не за эту ли свою стыдную безотцовщину никак не может простить Алину родная дочь Наталья, навсегда уехавшая в соседнее село?

Кто спорит: и доброта, и любовь к людям — прекрасные качества. Без них не прожить. Но мир, увы, устроен не так просто, чтобы можно было прожить только с ними.

Нет ничего проще абстрактной риторики. Совсем нетрудно и к тому же безопасно усердно провозглашать идеалы добра, любви, самопожертвования и т. п. Против них ничего возразить. Выраженные в абстрактной форме, они никого не раздражают, никого не вызывают на спор. Но и никого не волнуют! В этом состоит главный недостаток огромного числа произведений, составляющих мощный поток современной описательно-дидактической прозы. Пафос ее воспринимается как должное, как само собой разумеющееся. Здесь не встретишь открытий, ярких противоречий, парадоксов. Поэтому и читать такую прозу скучно: в ней все привычно, все знакомо, все узнаваемо. Читатель остается холодным, он не загораются, а лишь согласно принимает к сведению: эка невидаль, автор призывает нас делать добро, быть порядочными! А критики все чаще бьют тревогу по поводу засилья в современной литературе этого дидактического описательства.

«Мне давно уж, как говорится, «чего-то не хватает» в тех

добропорядочных описаниях-пересказах о доброте и нравственности, которые мы почему-то порой называем строго реалистической прозой, генеральным направлением и т. д., — пишет критик В. Гусев. — Колоссальное тайное напряжение эпохи становится все более явным... а некоторые писатели все полагают, что разные эти бытовизмы среднего плана — не крупного и не общего, разная эта серо-белая проза, равная самой себе и сделанная в масштабе один к одному, — что эта назидательно-описательная проза и есть та проза, которую следует называть добротной... Эта проза, мне кажется, исчерпала себя, она много может дать по части реальных рельефных подробностей, но уже ничего не дает духовно». (Гусев В. Жажда искусства. — Литературная газета. — 1985. — 24 июля.)

Как же выразить колоссальное напряжение современной эпохи, как передать суть глобальных проблем, которые стоят перед человечеством на пороге третьего тысячелетия? Это невозможно без повышения культуры художественного мышления. При этом важно не только само содержание писательской мысли, определяемое жизненным опытом, эрудицией, но и ее стратегия, направленность на те главные точки роста, в которых обновляется и развивается жизнь. Главной мировоззренческой предпосылкой здесь оказывается универсальная проблемность жизненного материала, та проблемность, которую марксистская диалектика фиксирует в понятии противоречия. Можно видеть в жизненном факте устойчивое, сложившееся, а можно в нем же разглядеть предпосылки для дальнейшего развития, роста. Там, где назидательно-описательное мышление ставит точку, удовлетворяясь сегодняшней, сиюминутной завершенностью жизненных коллизий, проблемно-ориентированное мышление только пачинает. Именно ощущение перманентной проблемности жизненного факта, ощущение его неисчерпаемости подвигает истинного художника от упрощенной схемы Ковсевича к сложной, трудновыразимой, но, безусловно, более точно отражающей мир модели Эйпштейна. Да, доброта. Но для кого? Да, любовь. Но к кому? Да, самопожертвование. Но во имя чего? Где, как, в каких жизненных координатах эти ценности приобретают значение «истинно», а в каких — «ложно»? В силу чего меняются сами координаты? Вот вопросы, которыми задается проблемно-ориентированное художественное мышление. Заранее известных ответов здесь никогда нет, знание добывается путем анализа, исследования, эксперимента.

Немалую роль играет при этом и то свойство литературы, которое имел в виду В. И. Ленин, когда говорил, что подлинное искусство всегда немощно впереди своей эпохи. Явления или мысль еще не вызрели, не оформились, не заняли своего места в общест-

венной жизни, а художественное мышление, отдающее себе отчет в принципиальной незавершенности бытия, уже угадало их значение, смысл, грядущие тенденции. Для такого мышления реальность никогда не ограничивается только действительным, то есть тем, что уже стало, есть. Наряду с устоявшимся здесь всегда принимается во внимание возможное, назревающее, которое, не являясь действительным, тем не менее в какой-то особой форме присутствует в людских думах и делах и потому требует учета, осмысления. На пересечении настоящего, прошлого и будущего разворачиваются глубокие философско-нравственные коллизии в романах «Берег» и «Выбор» Ю. Бондарева, «И дольше века длится день» Ч. Айтматова (кстати, какая поистине «эйштейновская» относительность заключена в самом названии романа!). Сложную, порой мучительную диалектическую взаимосвязь действительного (состоящегося) и возможного (воображаемого, желаемого) в человеческой душе глубоко, на мой взгляд, отразили С. Залыгин в «Южноамериканском варианте» и В. Катаев в своих «мовистских» повестях, особенно в «Святом колоде». Но все же надо признать: таких, претендующих на истинную «эйштейновскую» сложность произведений в современной прозе до обидного мало.

Не берусь судить, как преодолеть мелкотравчатый эмпиризм, как повысить культуру мышления наших писателей. Но, поверное, один из путей к этому — в серьезном, принципиальном разговоре не только об эстетике, но и об этике писательского дела. Пока же о нравственных основах писательства в критике говорится крайне мало. Читаешь газеты, журналы, узнаешь о том, что писатели в очередной раз побывали на ударной стройке, на свином комплексе, в заводском цехе, и видишь: да, современные писатели много ездят, много наблюдают жизнь. Но редко удается услышать разговор о том, как они ее осмыслиют. Нечасто (по крайней мере публично) вспоминаем мы о том, что литература — это не только поле для самовыражения и отражения черт эпохи, не только способ заработать хлеб насущный. Литература, писательство — это ведь еще и судьба, духовное подвижничество, непрерывный поиск выхода из противоречий, которыми полна жизнь и которые, как известно, составляют движущую силу ее развития. Можно ли оставаться спокойным, зная, что мир живет, развивается, усложняется, что любые житейские заповеди, даже самые благородные, не есть последнее слово в мучительном и прекрасном приближении к бесконечно далекой абсолютной истине?

Удивительно точно сказал об этом в одном из писем Л. Толстой: «Мне смешно вспомнить, как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно устроить себе счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы жить

себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзя... Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться, и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

В этих словах с беспощадной силой и откровенностью гения высказана заповедь, жизненно важная для каждого человека, а тем более для писателя. Самый трудный путь — это путь к себе. Конечно, не обязательно, чтобы ошибки и путаница, о которых говорит Толстой, выливались на страницы книг. Но все время должна происходить неустанная работа души, сознания, труд, направленный на познание жизни.

Нет, не таланта не хватает многим нынешним писателям — в большинстве своем это люди действительно одаренные. Ощущается нехватка культуры мышления, той культуры, которая определяет качество писательского исследования жизни, а через него — все идейно-художественное качество литературы. Вопрос этот не нов, борьба за идейно-художественное качество всегда была актуальной. Но сегодня она должна стать особенно острой и настойчивой.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| От составителей | 3 |
| В первом разделе сборника читайте | 4 |
| В. Радкевич. Ода Уралу. Прогулка по Риге. «Семизапка». <i>Стихи</i> | 6 |
| НАШИ ЮБИЛЯРЫ. И. Минин. Весна (<i>Отрывок из поэмы</i>) Пер. с комп.-пермского В. Радкевича | 10 |
| Н. Домовитов. «Три часа осталось до рассвета...» Разве я виноват... <i>Стихи</i> | 13 |
| О. Семякин. Будни войны. <i>Рассказ</i> | 15 |
| В. Болотов. Основа. «Поэзия? А что она...» <i>Стихи</i> | 39 |
| А. Крашенникова. Девушки поют... <i>Рассказ</i> | 41 |
| А. Репиков. «Я летел в небесах...». «Что за оказия, что за беда...». «До чего же печальна картина...» <i>Стихи</i> | 70 |
| Л. Давыдычев. Письмо маме. <i>Рассказ</i> | 72 |
| В. Телюгина. Не станет их... «Какая нынче редкость — тишина...» <i>Стихи</i> | 75 |
| ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. Л. Правдин. Всего шесть встреч | 77 |
| М. Смородинов. Строка. «Почти младенческую робость...». <i>Звук. Стихи</i> | 91 |
| НАШИ ЮБИЛЯРЫ. В. Воробьев. Планета одиночества. <i>Рассказ</i> | 94 |
| А. Гребенкин. «Опять заливает водой...». «Я выйду в тайгу...» <i>Стихи</i> | 98 |
| В. Соколовский. Волна. <i>Рассказ</i> | 99 |
| А. Гребнев. «Ну что еще ты так берешь...» Кунабз. Прощание с другом. <i>Стихи</i> | 116 |
| СЛОВО О ТОВАРИЩЕ. М. Голубков. Покажет мне речку | 119 |
| И. Лепин. Обращение к Перми. Апрель. <i>Стихи</i> | 133 |
| Во втором разделе сборника читайте | 136 |
| В. Возжеников. Грузовик. «По урочищам, зарытым и некошеным...» <i>Стихи</i> | 138 |
| Н. Кинев. Возвращались солдаты... <i>Рассказ</i> | 140 |
| С. Малышев. И закаты в полнеба... Перед боем учебным. <i>Стихи</i> | 155 |

| | |
|---|-----|
| С. Ваксман. «Я помню в детстве голос Левитана...». «Я видел Земаю в профальном сечении...» <i>Стихи</i> | 156 |
| И. Субботина. У трех берез. Трава. <i>Стихи</i> | 157 |
| Н. Черпед. «Уйду далеко, упаду в траву...». «Печти угасли слезы илчиы...». «Покачивушсь на скаке впарастой...». «Туман над полем и обрагом...» <i>Стихи</i> | 160 |
| Д. Ризов. Крапивные острога. <i>Очерк</i> | 163 |
| Ю. Марков. «Опять мы воздушный десант...». «Головою горячей в прокладу подушки нырну...» <i>Стихи</i> | 190 |
| Ф. Вострыков. «За Фатеевым домом пшеница...». «Играют облаком кудрявым...» <i>Стихи</i> | 191 |
| А. Кленов. Реанимации. Комната. <i>Стихи</i> | 191 |
| М. Крашенникова. Новобранец. <i>Рассказ</i> | 194 |
| И. Муратов. «Что хорошо, так это, что природа...». «На улице Полины Осипенко...» Падера. <i>Стихи</i> | 210 |
| Ю. Беликов. «Мне дав проклятый дар, как дырка в атмосфере...». Старая кассета. <i>Стихи</i> | 212 |
| Н. Горазпова. Театральный рассказ | 215 |
| И. Тюленев. Продолжение. Уральская ягода. <i>Стихи</i> | 225 |
| Н. Бурашников. «Я говорю себе: не спи...». Дерево и тень. Дождевые капли. <i>Стихи</i> | 226 |
| Г. Бачева. «Туман тусой повис над миром грузно...». «Еще февраль, еще от снега...» <i>Стихи</i> . Пер. с комп.-пермского В. Болотова | 227 |
| Ф. Истомин. Избы. Жалоба осени. <i>Стихи</i> . Пер. с комп.-пермского А. Гребнева | 228 |
| А. Меркушев. «Этого не было прежде...». «Природа — замечали вы?» <i>Стихи</i> | 229 |
| Г. Дробинина. Стирка. «Цветет черемуха...». «Есть же на свете люди...». «Я тебя не держу...» <i>Стихи</i> | 229 |
| М. Шаламов. Оригинальный усадеб Торопова и Лещя. Письмо, не написанное в 1914 году | 232 |
| С. Туицки. Я готов отдать за тебя жизнь! Тренер. Я боюсь. <i>Юморески</i> | 244 |
| В. Пирожников. Живем «по Эйнштейну», а мыслим «по Кошернику». <i>Полемические заметки</i> | 247 |

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИКАМЬЕ

Сборник

Зав. редакцией А. Лукашин
Редактор И. Гашева
Художник Ю. Юрчатов
Художественный редактор М. Бурдов
Технический редактор В. Чувашов
Корректоры З. Селяук, Г. Черникова

ИБ № 1365

Сдано в набор 06.03.86. Подписано в печать
19.06.86. ЛБ02118. Формат 84×108^{1/2}. Бум. тип.
№ 2. Гарнитура литературная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 13,86. Усл. кр.-отт. 14,07. Уч.-изд. л.
13,479. Тираж 10 000 экз. Заказ № 290. Цена 90 к.
Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь,
ул. К. Маркса, 30. Книжная типография № 2
Управления по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли. 614001, г. Пермь, ул. Ком-
мунистическая, 57.

М75 Литературное Прикамье. Литературно-художественный сборник. — Пермь: Кн. изд-во, 1986. — 259 с.

Сборник прозы, стихов, публицистики пермских профессиональных писателей и молодых литераторов.

Л $\frac{4702010200-43}{M152(03)-86}$ 27-86

Сб.

90 н.

ПЕРМСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

людение лесных пространств нашей страны, такой дорогой ценой заселенных в свое время. И это на фоне все более обостряющейся нехватки рабочих рук в народном хозяйстве, в том числе и в лесной промышленности! Да как же в таком случае лесозаготовительная отрасль собирается жить дальше?

Экономике народного хозяйства такая система работы лесной промышленности невыгодна. Рвутся, корежатся, выбывают из строя прежние, привычные связи между производителями сортовой древесины и ее потребителями. Снабженцы в панике. Предпринимаются чрезвычайные меры для предотвращения остановки Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината. Газета «Правда» в номере от 20 февраля 1982 года в статье «Что случилось в Балахне?» была тревогу: «Работать (комбинату. — Д. Р.) по-прежнему придется без резерва, буквально с колес. А «колеса» эти, то есть железная дорога, в январе ежедневно не довозили комбинату до 1 тысячи кубометров древесины, а в иные сутки не поступало ни одного вагона с лесом. В январе комбинат из-за простоев недодал более 10 тысяч тонн бумаги. В феврале, если не принять срочных, пожарных мер, потери будут, видимо, не меньше».

...Балахнинский комбинат не на Урале, но его судьба поучительна и для Урала. Стоит вспомнить, что, когда этот комбинат строился, вовсе не рассчитывалось, что он будет работать на «пожарной» древесине с колес. Для его нужд отводились близлежащие легкодоступные леса Горьковской и соседних областей. Но эксплуатировали их леспромхозы, «часовой механизм» которых был заведен на 30 лет. И он сработал. Местные леса были в спешном порядке сведены под корень. Как это происходило в Горьковской области, вспоминает заместитель министра внешней торговли Н. Н. Смеляков в мемуарах «С чего начинается Родина». Автор в конце пятидесятых годов работал в Горьковском совнархозе.

«...Вместе с начальником и главным специалистом управления мы отправились по леспромхозам, заготавливающим рудстойку (замечу, рудстойка — сортмент, почти идентичный балансу, идущему на производство бумаги. — Д. Р.).

По мере нашего приближения к месту валки и разделки деревьев все внушительнее становился рокот трелевочных тракторов, все громче произвольный голос механических пил и грохот падающих деревьев. Я уже не чувствовал ни запаха смолы и хвои, не замечал прелестей леса. Здесь шла настоящая битва человека с лесной ратью. Человек был хорошо вооружен. Чувствовалось, давно канули в прошлое старые способы добычи леса.

Механизация добычи леса достигла уже в то время довольно высокого уровня. Всюду трелевочные тракторы, моторные пилы, грузовые автомобили. Двухручной пилы найти было невозможно.

Блеск наточенного топора был еще заметен, но и он уже потускнел. Короче говоря, наступление на лес шло по всем правилам индустриального искусства. Лес буквально стонал. Крупные, созревшие деревья, сраженные механической пилой, с треском падали, беспощадно подминая молодняк. Но валился лес не только созревший, а весь подряд. Шла в буквальном смысле стрижка леса под одну гребенку, не считаясь ни с возрастом, ни с тем, что после нас тоже будут жить люди. Таким образом, я убедился с первых шагов в том, что дело заготовки леса было поставлено, в отличие от лесоразведения, значительно лучше. Результаты были налицо. Присохло стремительное облысение вместо облесения. В ряде случаев нарушались основные принципы лесного хозяйства, не соблюдались нормы вырубki, зависящие от ресурсов леса, его роста...

Вот когда было заложено нынешнее неблагоприятное Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината! С тех пор энерговооруженность лесозаготовительного производства еще более повысилась. По данным, сообщенным мне кандидатом наук Н. Ворончихиным, в настоящее время для освоения одного гектара — рубка, трелевка, очистка от сучьев — лесозаготовительная отрасль располагает энергией в 440,9 киловатта. А вот для восстановления леса на этом же гектаре отпускается всего 13,7 киловатта, то есть энерговооруженность лесозаготовителей на гектаре в 32 раза выше энерговооруженности лесников.

А вот наши уральские дела. Газета «Лесная промышленность» от 12 января 1982 года, статья тогдашнего секретаря Пермского обкома КПСС В. Петрова «Воспитываем бережливость».

«Мы с тревогой вынуждены констатировать, что запасы древесины хвойных пород, пригодные к промышленной эксплуатации, на Западном Урале неоправимо сокращаются. Если в эту практику не будут внесены коррективы, пермские комбинаты через 25—30 лет могут вообще лишиться сырьевой базы и оказаться в ситуации, близкой к той, в какой оказался в недавние годы Балахнинский целлюлозно-бумажный комбинат в Горьковской области. О такой возможности нельзя забывать. Текущие заботы, как бы остры и неотложны ни были, не должны затенять главного — наиболее эффективного, экономически грамотного использования лесных ресурсов. Будущее этих ресурсов тесно увязано с разумной эксплуатацией лесов сегодня...»

А разумная эксплуатация сегодня, логически продолжу мысль автора, тесно увязана, в свою очередь, с социальной судьбой лесозаготовителя как полноправного гражданина нашей страны, который, как и все прочие, тоже имеет право на создание Родительского Дома, то есть, как минимум, — на постоянную прописку для